К56 7/79.

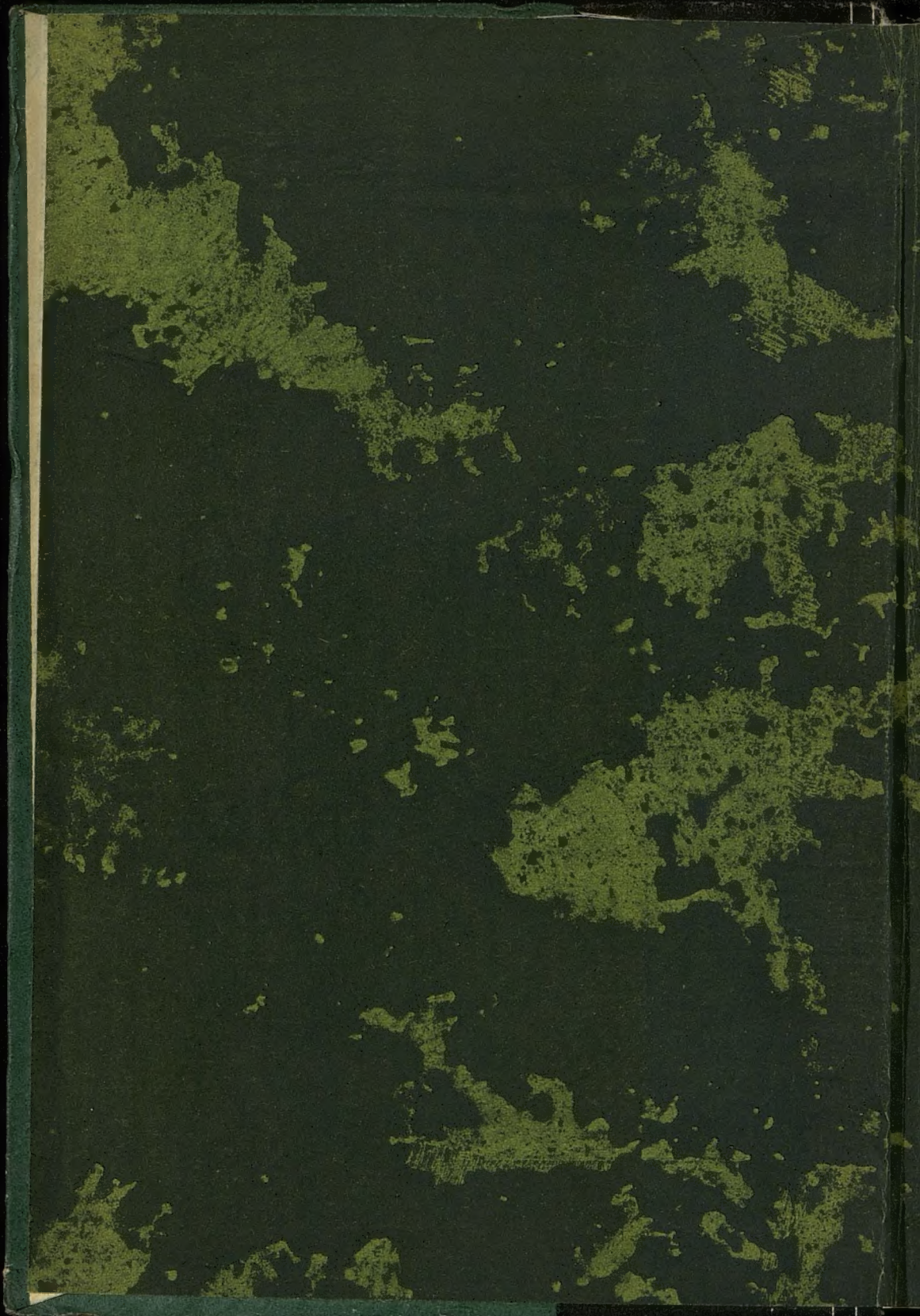
В. ЛАПИНСКИЙ — ПОСЛЕДНИЙ РАЗЪЕЗД

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТ

// ЛИТЕРАТУРА И ВОЙНА //

В. ЛАПИНСКИЙ

ПОСЛЕДНИЙ РАЗ'ЕЗД



Литература и война

В. Лапинский

К56 7/79

Последний разъезд

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ЛЕНИНГРАД 1933 МОСКВА

БИБЛИОТЕКА
Государ Историч. Музея
№ 7026
4 " VI 1933 г.

Гражданский мир

ПРАПОРЩИКУ ЛУГОВОМУ было жутко, жутко до отвратительной сверлящей боли в висках. Но он продолжал бежать впереди своей роты.

Он не слышал, а, вернее, чувствовал за собой звериный рев и гулкий топот сотни ног по твердой мерзлой, но скупо присыпанной снегом земле. Казалось, что стоило ему только на мгновение остановиться или неожиданно споткнуться, как сразу его поднимут на штыки или раздавят давно несмазанными, заскорузлыми пехотными сапогами. Оттого он ревниво развивал скорость бега, задыхаясь и вытягивая шею, как верблюд в ненасытной ловле воздуха.

По уставу этот устрашающий рев позади него, прапорщика Лугового, должен был звучать победоносным громовым, «во имя бога, царя и отечества», историческим русским, именно русским, «ура». И ему самому казалось, что, размахивая шашкой и крепко сжимая крутую рукоятку нагана в другой руке, он тоже кричит это — на смерть и страх врагам рожденное еще в далеком седом веке «ура». Он не замечал, что первоначальный крик «ура» давно уже перешел в неприятный, тонкий вой несчастной собаки, которой переломили лапу...

Внезапно тело прапорщика Лугового рванулось.

Ноги остались на месте, и Луговой, выкинув вперед руки с наганом и шашкою, всей своей тяжестью в четыре с половиной пуда ударился о мерзлую землю.

Падая, он успел заметить, что мимо него пронеслась знакомая фигура подпрапорщика Незвездина. Незвездин с совершенно пустыми глазами взглянул на него и пробежал дальше...

В следующий же момент раздалось два глухих взрыва...

На короткое мгновение все окружающее погасло в сознании Лугового.

Потом он увидел у самого бруствера немецких окопов силуэты солдат своей роты. Силуэты при фантастическом вспыхивании немецких ракет показались ему нелепо огромными.

*

Они взмахивали непомерно длинными руками и эти взмахи вызывали оглушительные взрывы.

Луговой ярко рисовал себе кошмарную картину того, что должно было сейчас происходить в первой линии немецких окопов.

— А... а... а... а!.. — взметнул он в зимнюю ночь пронзительный и протяжный крик. Крик самому ему показался чужим и безумным, но от крика стало легче...

Там, в немецких окопах, попрежнему рвались русские гранаты системы капитана Новицкого.

Г... у... у... х!..

А... а... а... а!..

Г... у... у... х!..

А... а... а... а!..

Луговой сознательно продолжал кричать. Он с какой-то методичностью выталкивал этот безобразный, животный крик после каждого взрыва гранат. Это определенно давало облегчение его большому сжатому ужасом телу.

Но через минуту он вновь утратил ощущение окружающего...

Когда он очнулся, вокруг него было тихо и безлюдно. Он застывал в каком-то странном оцепенении и спокойствии и только через несколько секунд ощутил сильную боль в правой ноге. Вместе с болью появилось полнокровное ощущение жизни.

— Жив!.. Жив!.. — безостановочно шептали его влажные, запачканные землею губы, вбирая теплую кровь, быстро стекавшую с левого рассеченного виска. Нога продолжала гореть в невидимом пламени неразгаданной еще боли.

Он сделал попытку приподняться, но, как только он шевельнул правой ногой, новый прибой обжигающей боли заставил его перекинуться на спину...

— А... а... а... а!.. — уже непроизвольно распирал горло звериный, ненасытный крик.

Луговой остался лежать на спине, уставив близорукие глаза в огромный раскрытый зонт расшитого серебряными звездами неба.

Спокойное лежание на спине сделало возможным упорядочить немного нелепый хаос мыслей и ощущений.

Он установил, что лежит шагах в пятидесяти от первой линии немецких окопов. В этих окопах сейчас была тишина. Впереди в воздухе булькали беспорядочные винтовочные выстрелы, надоедливо брехал железный лай множества пулеметов и почти беспрерывно вспыхивал нелепо-праздничный фейерверк немецких ракет. Слева доносилось далекое уханье чьей-то тяжелой артиллерии.

«На вторую линию пошли» — деловито подумал Луговой и, превозмогая боль, он придал телу сидячее положение.

Теперь можно было ощупывать правую ногу. Голенище сапога было цело и сухо. Ступню, задник и каблук обвила колючая проволока. Луговой сделал отчаянное усилие и на руках попытался протащиться вперед. Проволока натянулась и задребезжала: загромыхала нацепленная на нее пустая консервная банка. Ему стало ясно, что это был один конец перерезанной проволоки, другой крепко прирос к еле различаемому в отдалении колу. Он еще раз шевельнул ногой — новый прилив такой же до слез обжигающей боли.

— Вывих! — обрадованно шепнул он, глотая выжатые нестерпимой болью теплые и соленые слезы. Сознание, что в молодом, крепком, хотя и поврежденном, теле продолжается закономерное движение жизни, вызвало повторное желание лечь на спину и запрокинуть лицо в ночное небо. Но раздался шум как бы от раздирания огромного плотного полотнища, и мерзлая земля под Луговым задрожала. Немецкая артиллерия вела редкий огонь по полосе между линией русских окопов и своей первой, теперь уже оставленной. Черные фонтаны взрывов неуклонно приближались к прапорщику. Задыхаясь от боли, Луговой принялся яростно разматывать проволоку на правой ноге. Ржавые колючки рвали мясо на дрожавших в нервной лихорадке пальцах, но он этого не замечал. Когда проволока была сброшена, он перекинулся на локти и торопливо стал ползти в сторону первой линии немецких окопов...

Только бы зарыться... зарыться... Защемиться в какую-нибудь щель... Уйти от черных ночных фонтанов, пока еще не взошло холодное солнце немецкого прожектора...

На мгновение Луговой приостановился. Отчетливая, но нестерпимая мысль парализовала его: ведь сейчас немецкая артиллерия перенесет огонь на свою первую линию, к которой он ползет. Грозная артиллерия его императорского величества кайзера и короля Вильгельма II разразится смертельным, чугунным дождем заграждения и измолотит его, затерянного на жутком плацдарме, одинокого прапорщика пехоты его императорского величества государя императора Николая II.

Но черные фонтаны продолжали пока взметываться позади прапорщика Лугового, — очевидно, артиллерия кайзера немного запоздала...

«Только бы зарыться... зарыться... зарыться... Чор-р-т! земля — как на зло мерзлая и крепкая, и впереди не видать ни одной воронки...»

И он продолжал ползти...

Внезапно черный фонтан вырвался из земли в угрожающей близости и прапорщик Луговой провалился в спасительную пропасть.

Он лежал, обсыпанный землей, на дне холодного, угрюмого немецкого хода сообщения полной профили.

Он лишь теперь обнаружил, что шашки в правой руке нет, на кисти нелепо болтается только темляк с мишурной кисточкой. Кисть левой руки до боли скручивал плетеный ремень нагана. Луговой поднял левую руку и успокоенно ощутил тяжесть уцелевшего оружия.

«Всю жизнь не везет! — как обиженный ребенок подумал он. — Чо-р-рт, так влопаться... Дальше не пойду... К чертям...»

Он ослабел... Ему захотелось прислониться к жесткой стене рва и уснуть, но по ходу сообщения неотвратимо близко застонали чьи-то тяжелые, кованые сапоги...

На Лугового двигался человек. Человек, как слепой, растопырил обе руки и ощупывал стенки рва. Человек шел медленно и осторожно, и было слышно, что он по-ребячески беспомощно всхлипывал:

— Verfl... u... uchte... Schweine...[1]

Луговой с омерзением почувствовал, что капли холодного пота скользнули по хребту его широкой спины ртутными шариками. Было непреложно ясно — шел немец...

Вот — фигура его показалась за последним изломом...

Настоящая война... Настоящий враг... настоящая схватка (может быть на смерть!) притаились за последним окопным изломом...

Но самое обычное и самое конкретное появление врага сейчас показалось Луговому чудовищным, и таким ненужным явлением, перед которым он растерялся и которое лишило его способности на что-нибудь решиться.

Не отдавая себе отчета в том, что делает, он направил на немца свой висевший на ремне через шею, вместо бинокля, карманный электрический фонарик и прижал маленькую, холодную кнопку.

Немец продолжал осторожно, но неуклюже переставлять ноги, поддерживая растопыренными руками стены рва.

Луговой разглядел его. Он был тучен, даже огромен. Голова его была обнажена. За головой виднелся уродливый горб

[1] Проклятые... свиньи...

торнистра. Вместо лица у него краснела сплошная кровавая маска без глаз и носа, с зияющим беззубым провалом разорванного рта. Очевидно, удары прикладом разрушительной силы пришлись прямо по лицу, по глазам.

— Verfl... u... uchte... Schweine...

Солдат рыдал на ходу...

Луговой уже чувствовал над собой колыхание полы его отяжелевшей от крови шинели.

— Коллега!.. Коллега!.. — истошным криком позвал он немецкого солдата, уронив к себе на колени электрический фонарик...

— А... а... ch!... ch![1]

И тяжелая кровавая туша каменным обвалом грохнулась на Лугового.

Две шершавые, странно холодные руки забегали по его телу и, нащупав шею, внезапно вклещились ему в горло. Руки, как железные тиски, стали сжиматься резкими рывками.

— Да боже мой!.. Пустите!.. Коллега!..

Конвульсии холодных шершавых тисков крепчали.

Вне себя от страха и раздирающей боли Луговой высвободил из-под навалившегося на него тела левую руку с наганом. Остервенело воткнул дуло револьвера в жесткое сукно шинели и нажал курок...

Выстрел показался необычайно гулким. Холодные тиски на шее Лугового разжались. Солдат на секунду выпрямился во весь рост, схватился обеими руками за левый бок и опрокинулся на спину, успев надрывно прохрипеть:

— Sch... sch... u... u fft...[2]

■

В детстве, в далеком детстве Саши случилось так, что наиболее громко и назойливо прозвучало слово «убить». Для маленького Саши это слово было простым, хотя и малопонятным, как и многие другие.

И он никак не мог тогда разгадать — почему мать всегда была так грустна и так странно боялась этого простого слова.

Ведь даже сам дядя Семен, очень большой человек, читая как-то газету и чем-то сильно обиженный, просто, хотя и сердито сказал:

— Эту сволочь остается только убить!

---

[1] А... а... ах... х...

[2] П... о... о... длец!

Лишь один раз Саше стало страшно от простого слова «убить». Это, когда тетя Анна, жена дяди Семена, вбежала в мамину комнату, грохнулась на пол и в истерике закричала:

— Повесили!.. Убили!.. мерзавцы... Ванечку!..

Тогда Саша заплакал.

Он не знал и не понимал и знать не мог — одного. Он не знал, что случилось перед самым его рождением с отцом и какие мерзавцы (о чем так жутко кричала тетя Анна) убили маминого брата Ивана.

Маму после этого случая в тот же вечер куда-то увезли... Саша только помнил, что, когда вскрикнула тетя Анна, мать бросилась к окну, стала бить стекла руками и головой и затем упала с подоконника. вся пестрая от крови. Он хотел броситься к ней, но его подхватил дядя Семен, потащил на кухню, положил на кухонный стол и быстро выбежал, закрыв за собой дверь на ключ. Саша побоялся слезать с высокого кухонного стола и долго кричал, пока не охрип и не уснул там же, на кухонном столе. Вечером за мамой приехала какая-то странная карета, запряженная парою лошадей. С тех пор он никогда не видал маму. В первый раз тогда он смутно понял, что все кругом сложно и ко всему надо подходить с опаской.

Потом дядя Семен увез его в Петербург...

И вот появилась новая мама и даже новый папа. Мамой оказалась толстая тетя Альвина Карловна, а папой — рыжий, тонкий дядя Владимир Иванович. И началась для Саши совершенно иная жизнь.

Тетя Альвина была всегда спокойной и даже веселой. Дядя Владимир был тоже спокоен и тоже весел. Только Саше было не весело и не нравились ни тетя Альвина ни дядя Владимир. Здесь слову «убить» никто не придавал особого значения. Дядя Владимир работал бухгалтером на калошном заводе «Треугольник» и больше всего интересовался цифрами. а не людьми. Кроме цифо он очень уважал, а может быть, даже любил тетю Альвину. Тетя же Альвина обращалась с ним так же, как с Сашей, и дядя Владимир слушался тети куда лучше, чем Саша. Но и Саше приходилось слушаться тети Альвины. Когда он, как выражалась тетя, бунтовал, то она просто клала его на свои жирные колени и била толстым ремнем. Саша втайне ее ненавидел. Но еще больше он недолюбливал дядю Владимира за то, что тот никогда не заступался, а всегда поддакивал:

— Так... так... Иначе из мальчишки не выйдет толк.

Но однажды Саша нечаянно отомстил дяде. Дядя как-то поспорил с тетей и не хотел ее слушаться. Саша встал, подошел

к тете и, подавая ей толстый ремень, строго сказал: «Тетя Альвина, клади его на колени».

Тетя расхохоталась до икоты, а дядя вскочил, весь рыжий и красный, дал Саше пощечину и злобно прошипел:

— Недалеко, сопляк, от отца уйдет.

Жизнь тети Альвины и дяди Владимира была тиха и безмятежна, как и три комнаты их квартиры. Ложились они спать всегда в двенадцать и вставали в восемь. Дядя уходил на службу в девять. Вечером он возвращался всегда в пять. Снимал пиджак, оставался в жилете, надевал мягкие туфли, читал газету «Новое время» и непременно играл с тетей в круглые, подкидные, простые и прочие «дурачки». Альвина заполняла день своей возней на кухне, приемом гостей, беганием с прислугой на рынок и по магазинам, игрою на пианино, распеванием сентиментальных романсов и шитьем бесконечных салфеточек. По воскресеньям собиралась куча гостей. Тогда дядя Владимир выпивал много вина, подолгу кричал и старался петь: «Было дело под Полтавой».

С Сашей считались очень мало. Ему отвели третью, самую маленькую комнату, купили много игрушек. Аккуратно посылали гулять с прислугою в соседний сквер. По воскресеньям иногда его брали с собой в церковь, если с тетей — в лютеранскую, если с дядей — в православную. Требовали, чтобы он не пачкал костюма, не ломал игрушек, не клал бы руки за обедом на стол. А главное, чтобы был послушным. Если же он «бунтовал», применялся толстый ремень и все, по мнению тети Альвины, кончалось к общему благополучию.

В девять часов вечера его укладывали спать. И вот с девяти вечера у маленького Саши начиналась своя собственная жизнь, такая непохожая на жизнь тети Альвины и дяди Владимира. Он послушно делал вид, что сразу засыпает, но на самом деле долго отгонял сон. Всматриваясь в темноту комнаты и прислушиваясь к тонкому кипению тишины, упорно думал о матери, стараясь объяснить себе, почему она всегда была грустна, почему она боялась слова «убить», почему разбила окно, почему ее увезли и почему она не приезжает к нему. И всегда по-детски прямолинейно решал все «почему» одним «оттого»: «Оттого, что мама другая, чем тетя Альвина и дядя Владимир, — лучше».

Все эти кусочки прошлой жизни, в которых он разбирался с трудом и только смутно понимал, тянули к себе неудержимой силой и возбуждали особую, уже недетскую неприязнь к тете Альвине и дяде Владимиру, к их простой, чистой, но жутко скучной жизни.

Когда ему исполнилось восемь лет, неожиданно приехал дядя Семен.

Саша сразу спросил у него:

— А где мама?

— Мамы нет... совсем нет... Мама умерла...

— Как умерла?!. Значит, убили?..

Серьезный дядя Семен страшно изменился в лице и закрыл лицо руками.

Потом он ушел к дяде Владимиру и к тете Альвине.

Он ожесточенно ругал обоих за их животную жизнь, за то, что они ничего не сумели объяснить мальчику о его родителях, что они до сих пор не подумали о будущем ребенка: не выучили его ни писать ни читать; воспитывают из него какую-то нелепую куклу, не послали в школу; и еще много неприятных вещей наговорил им сердитый дядя Семен.

Дядя Владимир, с обидой и иронией в голосе, отвечал, что лучше, чем говорить об их жизни, ему бы неплохо подумать, как они там живут в далекой провинции.

— Мы, дорогой братец, слава богу, до тюрьмы и сумасшедшего дома не дожили. А на те деньги, которые вы высылаете на вашего незаконнорожденного поросенка, мы ему разных бонн, гувернанток нанять не можем. А в школу этой осенью он пойдет. Нечего, дорогой братец, каких-то вундеркиндов растить, которые потом окажутся кандидатами на виселицу... Да-с...

Тут дядя Семен срывающимся голосом крикнул на все три комнаты безмятежной квартиры:

— Замолчи!.. Замолчи!.. Цифирка дуболобая!.. Замолчи!

И оглушительно стукнул кулаком по столу, сбросив на пол что-то очень тяжелое. Потом он, весь красный от злобы и обиды, вернулся в комнату Саши, поднял его и прижал к себе так крепко, что Саше стало душно и тоскливо.

— Дядя Семен, милый дядя Семен, возьми меня с собой, мне здесь страшно и скучно.

Но дядя Семен покачал головой, поставил Сашу на пол и грустно сказал:

— Это сейчас невозможно. Тяжелое время. Я должен сегодня уехать далеко-далеко.

Затем вынул из дорожного чемодана большую толстую книгу в синем переплете с золотым тиснением, передал Саше и быстро вышел из комнаты.

Все же после его отъезда с Сашей стали заниматься. Купи-

ли тетради и учебники. Каждую субботу дядя Владимир аккуратно проводил с ним два часа.

Саша скоро научился читать и писать. Новый мир открывался перед его изумленным сознанием.

Загадочная книга, подаренная дядей Семеном, оказалась собранием сочинений Некрасова.

На внутренней стороне левой крышки переплета была надпись:

Нашему будущему ребенку от отца, которого он не увидит, но дорогу которого он должен избрать. Петр Луговой.

Эта надпись поразила Сашу — как ничто в жизни. И еще больше поразили его слова дяди Владимира.

Он узнал, что Петр Луговой, его отец, самый младший брат дяди Владимира и дяди Семена. По словам дяди Владимира, Петр Луговой был человеком дурным — революционером, отчего и умер не своей смертью, чем и загубил Сашину маму. И Сашина мама, желая уберечь своего сына от участи отца, завещала ребенка воспитывать в тихом, бездетном (как выразился дядя Владимир) семействе тети Альвины. Про дядю Семена Саша узнал, что он человек непутевый, такой же, как Петр Луговой, но немного поумереннее и когда-нибудь тоже «достукается» со своей политикой.

— Самое паршивое — это заниматься политикой, — заключил дядя Владимир. — Ты никогда не должен заниматься политикой. Ты будешь юристом, так хочет тетя Альвина, то есть, собственно, я с тетей Альвиной — твои приемные родители.

У Саши было недоверие к словам дяди Владимира, но сознание, что он сын «дурного» отца и смутное представление о тяжелой драме матери сделали его замкнутым и скрытным мальчиком.

Таким Саша и рос.

И ни тихое, бездетное семейство, ни товарищи по гимназии и затем по университету, так хитро, ловко и с таким отбором подобранные тетей Альвиной, не могли окончательно вытравить у него глухое недоверие к окружающему миру и к собственной жизни.

Политикой ему, как будто, и не удалось заняться (к великой радости тети Альвины и дяди Владимира), однако он все же смутно рисовал себе дорогу отца. И тяжело, особенно тяжело было Саше, когда дядя Владимир в какое-нибудь из веселых

воскресений, поднимая указательный палец, наставительно вопил:

— Не дорога отца, а предсмертное пожелание матери.

И тихое семейство все же сумело раздвоить Сашу, удержать его от решительного выбора.

Из толстой книги сочинений Некрасова, переданной дядей Семеном, он особенно любил стихи:

От ликующих, праздноболтающих,
Обагряющих руки в крови,
Убеди меня в стан погибающих
За великое дело любви.

И он ждал, что придет кто-то сильный и уведет его «в стан погибающих за великое дело любви». Но неутомимая тетя Альвина Карловна упорно, по-своему строила судьбу своего приемного сына. И война застала Сашу на первом курсе юридического факультета, на дороге к осуществлению честолюбивой мечты усердной мачехи.

Саша попал в число мобилизуемых для направления в военные училища студентов.

Тетю Альвину это не особенно радовало. Вообще у нее была своя ориентация по вопросу войны.

— «Русско-немецкая», — ехидничал над тетей дядя Владимир, начавший проявлять какую-то небывалую воинственную самостоятельность и застраховавший себя на калошном заводе от войны надежной броней «незаменимого».

Он ненасытно говорил Саше о долге, об отечестве, об исторической миссии России, о священной обязанности Саши своим беспорочным служением на полях войны «вере, царю и отечеству» исправить ошибку своего крамольного отца.

Саша слушал его с щемящей тоской. Его коробило от грубого патриотизма разбушевавшегося бухгалтера. Для него вопрос не разрешался так просто.

В слове «отечество» действительно звучала заряжающая музыка. А сама война казалась большим делом, полным геройских подвигов и самопожертвования во имя защиты этого самого отечества, от надвигавшейся, неслыханной еще грозы.

Но, несмотря на заботливую оборону объединенными силами тети Альвины и дяди Владимира от «политики», Саша все же успел разобраться, хотя и с недостаточной ясностью, в причинах, заставивших отца восстать против самодержавия. Это отравляло высокий и торжественный подъем Саши, а главное, вызывало болезненное отвращение к шуму дяди Владимира.

Перед самым уходом в военное училище приехал дядя

Семен, так внезапно исчезнувший после первой встречи с Сашей в квартире тети Альвины.

Дядя Семен тоже был на каком-то подъеме. Странно: он довольно мило ладил теперь с дядей Владимиром, хотя и подшучивал над его патриотическими упражнениями и обзывал его «патриотической цифрой».

С Сашей дядя Семен проговорил два долгих знаменательных вечера. Он открыл ему столько нового, что Саше показалось, что он за эти вечера возмужал лет на десять.

Дядя Семен очень мягко отвечал ему на все мучившие его вопросы и не хаял, как дядя Владимир, Сашиного отца. Нет, он даже утверждал, что Петр Луговой погиб за правое дело, что Саша должен высоко чтить память несчастного отца и матери. Но...

И тут дядя Семен начал говорить особенно убедительно...

— Все дело, видишь ли, милый Сашенька, в том, что время требует сейчас другой тактики. Сейчас нужна не борьба между отдельными группами русского общества. Сейчас мы должны забыть прежние счеты. Все свои лучшие силы наша многострадальная русская интеллигенция обязана отдать на защиту нашего несчастного отечества от разгрома реакционнейшими тевтонами. В грозные дни кровавого преступления прусского юнкера Вильгельма только гражданский мир, милый Сашенька, единственно верная тактика каждого любящего свою родину гражданина, — говорил дядя Семен. — Это диктует, милый Сашенька, нам исторический ход вещей. Я сам, Саша, отправлюсь на фронт братом милосердия и я глубоко уверен, если бы твой отец был жив, он говорил и делал бы то же самое.

Дядя Семен еще долго потом говорил о Плеханове, Интернационале, военных кредитах, но у Саши все-таки оставалось какое-то ьеловкое недоумение.

— Дядя Семен, но как же все-таки, как же... Погибло столько хороших людей в борьбе за то, за что отдал жизнь папа?

— Милый Сашенька, я понимаю, понимаю, но дело теперь не в том. Мы не отрекаемся от своих идей... Нет... Мы не будем о них молчать, когда кончится война, но сейчас, милый Сашенька, сейчас, как я уже говорил, история диктует гражданский мир внутри страны и беспощадную войну с внешним врагом.

И дядя Семен мягко и осторожно погладил Сашу по голове, как ребенка, не способного еще все достаточно ясно усвоить.

— Ты, милый Сашенька, ведь еще очень, очень молод, тебе только двадцатый год, но ты поймешь...

На третий день Саша успокоенным и, как ему казалось, прояснённым отправился на медицинский осмотр в училище.

И через четыре месяца высочайшим приказом в ряды огромного воинства защитников русского отечества была брошена новая пачка молодых людей, начиненных плохо переваренными военными дисциплинами и казарменным патриотизмом разной степени и разной прочности.

Молодые люди всемилостивейше были отмечены от прочих смертников гордым погоном в один просвет с одной звездочкой.

И в эту пачку был втиснут и сын крамольного отца — прапорщик Александр Луговой.

■

«...Рождество твое, Христе, боже наш...»
«...На земле мир, в человецах благоволение...»

Так пело русское отечество...

Пышные, добротные, из кафедральных соборов священники оглашали умиленно этими напевами далекий тыл. И менее пышные, но не менее добротные полковые пастыри из маленьких походных церковок послушно доносили эту рождественскую патоку до завшивевших цепей бесконечного фронта, извивавшегося в окопах под несмолкаемую анафему пушек, пулеметов и харкающих винтовок.

Саша уже пятый месяц на фронте выполнял то большое дело, которому, по его мнению, в одинаковой степени посвятили себя все — от главнокомандующего до самого маленького, захудалого солдата Сашиной роты Метелкина, с вечно хлюпающими вследствие несоразмерного роста сапогами...

Полк стоял в дивизионном резерве. Землянки, как цыганский табор, раскинулись в поредевшем от огня артиллерии и от хозяйственной рубки на топливо и инженерные работы прибалтийском лесу.

Перед самым началом рождественских дней Саша был вызван к покровительствовавшему ему со дня прибытия в полк командиру первого батальона капитану Ставрогину.

— Александр Петрович, — сказал капитан, — вы вот ничего не подозреваете, а у нас в полку, едрихен-штрихен, такая свалка, такая свалка! Какие-то сволочи подкинули похабную вывеску с приглашением отказаться от наступления. Каковы мер-

завцы!.. А? И эта идиотская девятая рота вчера отказалась итти в окопы. Думаю, что у меня в батальоне до такого похабства дело не дойдет. Однако, держите, что говорится, ушки на макушке. Одним словом, полковник приказал послезавтра вечером моему батальону быть готовым. Все прежние приказания остаются в силе. Только проверьте относительно белых халатов, чтобы у всех были... Шагайте.

Саша был странно взволнован. То, о чем говорил капитан, собственно, давно уже обнаруживало себя; правда, еще очень осторожно, в многочисленных беседах с солдатами.

Но сейчас проясненность, державшаяся в Саше, как стойкая солнечная погода, с самого дня знаменательного разговора с дядей Семеном, омрачилась тревожным недоумением.

Вечером все командиры батальонов и рот были собраны в штаб для получения последних распоряжений и указаний о предстоящем бое. Неожиданно прибежал подпрапорщик Сашиной роты Незвездин и попросил доложить капитану Ставрогину, что батальон взбунтовался. Роты батальона с винтовками и белыми халатами самовольно привалили к бараку капитана. Солдаты заявили: обороняться будем, наступать не хотим.

Командир полка, седой полковник с усталыми глазами, приказал никаких карательных мер не предпринимать, а уговорить солдат...

Когда Саша подошел к своей роте, подпрапорщик Незвездин неуверенно скомандовал:

— Смирно!..

Но солдаты, стоявшие не строем, только прекратили разговоры и бросили цыгарки. Саша заметил, что сотни глаз выжидающе исподлобья смотрят на него. Он приказал Незвездину построить роту и отвести к землянкам. Люди начали уже становиться, но появился капитан Ставрогин.

Саша скомандовал: «смирно», но неуверенно, так же, как и Незвездин, при его приходе.

И опять люди прекратили только шум, продолжая стоять вольно.

Капитан вспыхнул.

— Что ж это у вас, прапорщик, — строй или бордель?

Саша еще раз скомандовал: «смирно». Тогда рота стала по уставу.

— Что же, братцы, вы за кашу затеяли?.. А?.. В дисциплинарный потянуло, что ли?!

Но тут поднялся невероятный шум. Люди сошли со своих мест. Кто-то простуженным горлом крикнул в темноту:

— Смену давайте!.. Нет больше нашего терпенья!..

А затем, кажется самый маленький солдат Сашиной роты, Метелкин, обиженно сказал:

— Грабют нашего брата, хрестьянина, а семьи наши не жрамши с голодухи пухнут.

— Не война — чистая измена.

— Разговорчики!.. Кто разрешил?! — крикнул капитан громко, но сохраняя спокойствие.

И опять простуженное горло кашлянуло:

— А кто же за нас разрешит?

Саша в сильном волнении попросил капитана позволения сказать солдатам слово. Капитан согласился.

И Саша говорил...

Горячась, простыми словами он передал почти все то, что рассказал ему дядя Семен в те два долгих незабываемых вечера перед уходом в училище.

Солдаты слушали, все еще исподлобья выжидающе посматривая на него. И когда он кончил, вышел долговязый хитрый ефрейтор Коротких и, повернувшись к роте, сказал:

— Братцы, ежели бы начальство полегче с нами, как с людьми, да рази мы посмели бы? Ни в коем разе. У нас ротный, что отец родной, а что касаемо других...

Ефрейтор, лукаво взглянув на капитана, безнадежно махнул рукой в толстой шерстяной перчатке.

— Так вот, — продолжал он, — речь моя к тому: ежели начальство послобонит, так сказать, по-человечески с нашим братом, мы не против. Ни в коем разе.

И Сашина рота согласилась итти в холодные окопы, но отказались остальные.

Послушную роту, по приказанию командира полка, на рассвете разместили в особых землянках, а отказавшиеся были отведены к штабу полка.

Полковник вызвал снова в штаб офицеров. Он от лица службы при всех поблагодарил Сашу, беспощадно ругал остальных командиров рот и сердито бросил Ставрогину:

— Капитан, не отдаю вас под суд только оттого, что в вверенном вам батальоне нашлась одна рота, оставшаяся верной присяге — рота прапорщика Лугового. Вы свободны, господа офицеры, до особого распоряжения.

Саше все завидовали. Капитан хлопал его по плечу и приговаривал:

— Молодец, душечка, едрихен-штрихен.

Саша был убежден, что спас солдат от грозившего им тяжелого наказания за неосторожное и необдуманное возмущение.

Но на другой день, в самый сочельник, приехал корпусный генерал. Капитану Ставрогину было поручено выполнить «особые распоряжения» и он, вверенной прапорщику Луговому ротой, обезоружил сдавшиеся остальные роты своего батальона.

Двадцать четыре стрелка были арестованы и преданы суду.

— Слышали, Александр Петрович, эту сволочную компанию в две дюжины? Того, ведь, подвели под расстрел. Чик — и ваших нет, едрихен-штрихен, — конфиденциально сообщил Саше через неделю любезный капитан Ставрогин.

Двадцать четыре человека, которых уже долгие месяцы ожидали ничего не подозревающие дети, братья, сестры, матери и отцы, к расстрелу под несмолкаемые рождественские напевы:

«...на земле мир, в человецех благоволение...»

Первый глухой взрыв в Сашином недолгом спокойствии, так трудолюбиво созданном любящими руками дяди Семена. Первая, пока еще слабо ощутимая трещина в стойкой вере в гражданский мир.

В самой армии, ведущей третий год жестокую кровоточащую войну, вспыхивает жесточайшая война насмерть...

Во имя чего — эта вторая, неожиданная для Саши, война?

— Не может быть... нелепо, чоррт... как нелепо... Ведь я уговорил... Солдаты согласились... К чему эти двадцать четыре человека?!. Какая нелепость!..

Не приходили, конечно, в Сашину землянку двадцать четыре смертника и не становились у его изголовья немым укором, как это бывало в старых чувствительных романах тети Альвины.

Но что же это такое?.. Он уговаривал исстрадавшихся, на короткое мгновение ослабевших в великой страде тяжелейшей защиты отечества. И уговорил. Да, уговорил, чтобы осознавшие свою слабость разоружили своих же товарищей и предали двадцать четыре из них в бесстрастные руки торжествующей без того на фронте смерти.

— К чему? — томительно вопрошал Саша в своей маленькой землянке, но землянка молчала. Говорили пушки, пулеметы и винтовки.

И в темноте молчаливой землянки Саша почувствовал, как по всему его большому телу от корней волос на голове и до кончиков ногтей ног загорается краснота карающего стыда от смутного пока еще сознания, что он сделался соучастником какого-то грязного, большого обмана.

В блиндаже командира батальона внешний мир отзывался приглушенно, как бы под модератор.

Прапорщик Луговой лежал с закрытыми глазами на походной кровати командира батальона и старался не шевельнуть ни одним суставом, несмотря на неотвязную боль в ноге. Он делал это из боязни, что как только позволит себе хотя бы малейшее движение или легчайший стон, он сейчас же вернет себя к ненавистному отрезку действительности — от первого прыжка по выходным жердям окопа при сигнале к атаке и до жуткого ощупывания трупа в ходе сообщения.

Атака на вторую линию не удалась...

Подпрапорщик Незвездин при отходе за первую линию немецких окопов с поразительной четкостью припоминал свой неудержимый бег мимо упавшего командира роты. Он никак не мог себе объяснить, почему пробежал тогда мимо и допустил такой странный поступок, несвойственный подпрапорщикам русской армии. И при возвращении на первую линию немецких окопов, он бросил роту и занялся поисками потерянного командира. Это не спасло роту, а спасло только Лугового.

Когда подпрапорщик, двое стрелков и санитар несли найденного командира роты, прапорщика Лугового, на натянутой на двух винтовках шинели, к блиндажу командира батальона, Луговой ни о чем, как ему казалось, не думал. Он все свои силы щедро тратил на подавление обжигающей боли в правой ноге, неловко лежавшей на шинели. Он в эти минуты благословлял эту жестокую боль. Она вытесняла мысль о пережитом в немецком ходе сообщения кошмаре, она отсрочивала на неопределенное время разрешение всех проклятых вопросов, вставших перед ним после того, как человек в немецкой шинели упал на дно рва.

Здесь, в блиндаже командира батальона, Луговой продолжал эту сложную игру. Чтобы не думать о мрачном ходе сообщения и черной глыбе немецкого трупа, он кинулся к далекому детству. И как когда-то, в ненавистной комнатке тети Альвины, так и здесь в блиндаже, лежа на койке командира батальона, отгородился он мыслями о ранних ребяческих днях от обличительного рева войны. Но туманные картины детства были слишком худосочны, чтобы надолго сдержать натиск ужаса ночной штыковой атаки и громоздкую тяжесть случившегося в немецком ходе сообщения.

Из всех военных дисциплин, наскоро проглоченных за четыре месяца пребывания в военном училище, Луговому больше всего импонировал штыковой бой.

В запасном полку, в своей полуроте наибольшие требования он предъявлял к солдатам в овладении приемами штыкового боя.

Штыковая атака — вот самое романтическое, самое увлекательное, что, по его мнению, должен был включать в себе бой современной армии. Штыковую атаку он рисовал себе не иначе, как самое яркое выражение какой-то высшей формы доблести, отваги и беззаветной преданности отечеству.

И что же случилось?

Омерзительное, неслыханное самообманывание и обманывание подчиненных солдат.

Люди с дрожащими коленями под многоголосый, приглушенный мат выскакивают из окопов, бегут, задыхаясь не столько от бега, сколько от нервной судороги, затем выбрасывают звериный крик (русское, именно русское доблестное «ура»...) с единственным желанием заглушить этим криком всезаливающий ужас и потом, потеряв рассудок, лишенные возможности разумно ощущать смертельную опасность, штыком и прикладом работают как на скотобойне.

И все это не от того, что он, прапорщик Луговой и солдаты вверенной ему роты оказались сплошными трусами. И не от того, что штыковая атака более отвратна, чем артиллерийская дуэль или рубка кавалерии. Нет.

В тылу, в запасном полку этот бег с винтовкой на перевес к набитому соломой мешку в деревянном станке на деревянных игрушечных колесах был прост, как арифметическое правило — $2 \times 2 = 4$.

А на фронте?

На фронте, чтобы суметь побороть всезаглушающий животный ужас, надо твердо и ясно знать, во имя чего ты бежишь в чугунно-свинцовый ливень с винтовкой на перевес и во имя чего ты будешь крошить человеческие черепа прикладом и решетить человеческие груди русским трехгранным штыком. Между тем, сладчайшая из сладчайшей музыки, музыка слова «отечество» и грознейший грохот черного порохового слова «враг» таяли, безвозвратно таяли в кровавой оттепели на убойных полях фронта.

Страшными оказались не враги, а силы, заставившие каждый палец рассматривать, как штык в защиту отечества, опутан-

ного гражданским миром, подписанным кровью двадцати четырех смертников русского Сибирского стрелкового полка.

Но разве не в защиту такого же опутанного отечества шел до последней звериной схватки в мерзлом ходе сообщения неизвестный немецкий солдат, слепой, избитый русскими прикладами. И разве не те же самые силы навязали ему тяжелую опасную кличку «врат»? Луговому казалось — холодная дыра немецкого хода сообщения сызнова всасывает его.

Вот — ошеломляюще громко хлестнул выстрел из нагана. Черная шинель с горбом торнистра, карающе поднимается над Луговым, но сейчас же падает. Луговой чувствует такой озноб, будто его только что вынули из ледяной воды. Дрожащими пальцами он нащупывает карманный электрический фонарик. Кинжал колеблющегося света режет темноту и вонзается в лицо немецкого трупа. Прапорщик Луговой слабо вскрикивает — кинжал падает, и кругом снова тьма и грохочут черные фонтаны. Он, упираясь руками в мерзлую мозольную землю, как потревоженный рак, отползает от трупа к недалекой нише.

Может быть, он просидел там минуту, может быть час. Он помнит только внезапно родившуюся непоборимую жалость к тому неподвижному, исковерканному в немецкой шинели...

Какой-нибудь безусый желторотый лейтенант, — возможно, бывший студент из веселого университетского города Гейдельберга, несомненно уговаривал, упорно уговаривал...

И прапорщику Луговому жутко — до явно ощущаемой необходимости двигаться.

Он ложится на бок на здоровую ногу, и кряхтя и задыхаясь от боли в вывихнутой ноге, по-пластунски, подползает к убитому. Но, приблизившись вплотную к нему, совершенно не знает, что делать дальше. Затем, почти бессознательно, отстегивает обшитые шершавым сукном пуговицы на немецкой шинели. Снимает с шеи трупа марку на тонкой пропотевшей бечевке. Руки заползают в карманы мундира, пальцы хватают монеты, часы и, точно обожженные, сейчас же опускает их обратно.

Наконец, пальцы нащупывают потайной карман под левой полой мундира, рвут зашивку и вытаскивают тонкую пачку писем, бланок и кусочков картона. Луговой эту пачку бережно прячет в свою полевую сумку и, облегченно вздохнув, опять, как рак, отползает к своему убежищу — к нише.

Только бы узнать... Только бы узнать, кто он... Вечно хранить его имя в памяти... Имя врага...

Но кругом тьма и надоедливое до физической тошноты уханье и брызганье черных фонтанов.

Прапорщик Луговой не может вылезть из хода сообщения — у него вывихнута правая нога. Он не может покинуть труп неизвестного солдата.

И, может быть, это сейчас только сон, бред в капитанском блиндаже или все еще тянущаяся явь там, во рву, но по козырьку блиндажа что-то глухо ударило и на Лугового брызнул песок.

Тяжело, невероятно тяжело сознавать, что так рано, на самом разбеге молодой жизни, уже случилось самое непоправимое — этот невозвратимый, нежеланный выстрел в ослепленного ударами приклада человека.

А двадцать четыре смертника, уговоренных и приговоренных к расстрелу? Может быть, тогда уже началось это непоправимое?

«Чоррт... во имя чего же все это?

Неужели во имя того, о чем говорил дядя Семен?»

Луговому почудилось, что тяжелые сосновые накаты блиндажа, выламывая громоздкие крепы, медленно опускаются на него.

Ему захотелось крикнуть, но он закусил губу и больно прищурил глаза, хотя в блиндаже была пороховая ночь...

Внезапно он услышал над собой чей-то почтительный шопот.

Он поднял глаза и увидел в простенке блиндажа, над кроватью, вспыхнувший слабым колыхающимся светом квадратный вырез. Из выреза чья-то рука в шинели просунула телефонную трубку и кто-то почтительно повторил:

— Ваше высокоблагородие, ваше высокоблагородие! Их благородие, младший офицер второй роты прапорщик Власов вас требуют к телефону.

Луговой застыл в недоумении.

Трубка исчезла...

Командир батальона терпеть не мог солдат и особенно не любил быть долго у них на виду. Чтобы не иметь перед собою телефонистов, он приказал разделить блиндаж простенком. Простенок был слажен солидно — из двух рядов дюймовых досок, прибитых по левой и правой сторонам двух крепильных столбов, приходившихся как раз против выхода блиндажа. Прогал между рядами досок засыпали песком и камнями а на самом простенке прорубили квадратное оконце. Оттуда телефонисты передавали телефонную трубку. Когда командиру батальона хотелось замкнуться от телефонистов, он закладывал оконце тщательно пригнанным к отверстию чурбаном — в виде вьюшки с ручками на обеих сторонах...

После телефонной трубки в отверстии показался кусок человеческого лица с удивленным глазом. Глаз помигал и исчез. Квадрат продолжал слабо светиться.

Луговой услышал голос того же телефониста:

— Вань, а Вань, нет его, чорта моржевого. Скажи прапору еттому, что вышедши они. А то одна маята. Тут тебе артиллерия наша застриляла, а он бренчит, бренчит.

— Ваше благородие!.. Алло!.. Ваше благородие, капитана Стонсгого нет. Они вышли. Виноват, ваше благородие. Оговорился... Слушаюсь! Передать их высокоблагородию Сторогому, что командир второй роты прапорщик Луговой пропал без вести. Слушаюсь.

— Хе, елки-палки. Вывернулся... Ну, и ловко ты его, Вань!.. Оговорился... говоришь... Ой, моченьки нет!.. хе... хе... Стоногий... Сторогий... Ой, не могу — смехота!..

— Тише ты, дьявол... Тебе смехота, а тут хорошего человека сковырнуло. Жаль этого прапора со второй. Не чета нашему живодеру.

— А етто который, Вань? Тот самый, что с Метелкиным плакалси?

— С каким таким Метелкиным?

— Да ратник из второй. Ну, лядащий такой, никудышный, будто корова на ем сидела.

— Который? Тот, что ли, что холуем у живодера?

— Да не-е!.. Тот самый, который в разведку ходил, да сапог у немца оставил.

— Ну тебя, говори толком.

— Да я ж и сказываю толком. Третевого дня, что ли, перед эттой самой нонешней заварухой, чорт наш моржевый приказал от второй разведку дослать: проволочку ерманскую почикать, значит. Ну и попал в дозор самый еттот Метелкин, да земляк его, ефлейтор Петров. Ползли они ползли — и доползли. А ночь-то темнущая, подтаяло малость, да снежок сырой присыпает. Ну, ни хренозинки не видать. Мутно. Метелкин с ножницей, а Петров с бутылками. Нащупал Метелкин проволочку. Легонько ножницей — чвак, есть одна. Поползли дальше, ножницей — чвак, есть вторая. Поползли дальше. Как наметился третью чвакать — затринькала на проволочке баночка консервная. Метелкин возьми да обомри, и чует, сердешный, вдруг тягает его кто-то за левую ноженьку. Метелкин ефлейтору, плачется: Господин Петрович... Тягат меня за ноженьку... ктой-то.

«А ефлейтор трошки поменьше Метелкина сомлел. «Ползи, говорит, вперед, а загодя кругом». Подался Метелкин вперед. Чует: душа православная с сапогом уходит. Как дали они с ефлейтором зайца, да к взводному. Так и так, мои, там-то и там-то секлет немецкий за ноженьки хватает, а проволочки считано, значит, еттой самой, мол, в три кола. Ну, попер их взводный на полевой караул. Пришли они взад к окопам, глядит ефлейтор — вроде как Метелкин на левую ноженьку хромает..«Ты, что ж, говорит, раненый? Чего ж, говорит, ты давеча не сказывал»? А Метелкин тот плачется: «Да не-е, господин Петрович. Сказывал я уже давеча, что сволочь эта самая, секлет немецкий, сапог стягал». Как рассердится тут ефлейтор на Метелкина: «Петрович? Петрович?!. Величать, лимонния валдайская, не научен?!. Может, ты и мошну с прибором у ерманца позабыл?»

Раздался приглушенный смех.

— Ну, это все я лучше тебя знаю, всему полку раззвонили. Да, поболее твоего слыхал. Целехоньких из второй-то нынче, знаешь, сколько осталось? Десяток. А в десятке — твой Метелкин. Коли живодер наш его не слопает с кашей — до ефрейтора достукается. Тебя уму-разуму учить будет. А ты меня за темного опознал... Хе...

— Да чего ж ты уши развесил?

— Уж больно забавно ты языком треплешь.

— Ну, за это, Вань, знаш, что бывает?

— Тише ты!.. Алло! Витебск слушает... Никак нет, ваше благородие, не пришли еще они... Слушаюсь. Отставить насчет командира второй роты, доложить, что нашелся. Слушаюсь.

Квадратный вырез в простенке внезапно потух.

У командира батальона, капитана Ставрогина, в ту самую ночь злополучной разведки, о которой говорили телефонисты, был очередной запойный «ход». В таком состоянии капитану не сиделось в надежном блиндаже. Он рыскал, как встревоженная ищейка, по окопам батальона и доходил обычно даже до часовых и подчасков.

Когда в полевом карауле ему доложили о небывалом случае с рядовым Метелкиным, бесславно сдавшим в плен сапог из цейхгауза армии его императорского величества, капитан оживился, как перед раздражительной добычей. Он велел обыскать Метелкина. При обыске у солдата нашли в кармане шаровар кусок старой газеты «Копейка» и конверт с заготовленным адресом для письма домой — в деревню. На допросе Метелкин доложил, что газету взял для раскурки, а письмо было не закончено и он никак не может вспомнить, куда задевал.

Капитан Ставрогин приказал ефрейтору Петрову отвести Метелкина в убежище командира роты и передать прапорщику Луговому, чтобы он на рассвете поставил солдата под ружье на бруствер на тридцать минут.

— Так-то, едрихен-штрихен, людей в разведку отправлять? Блестяще. Доберусь я до вас — будете осведомлены, где Макар телят не гонял, — заявил капитан растерявшимся отделенным и взводному, и удовлетворенный, спокойно вернулся в свой блиндаж.

Когда в убежище ротного командира Метелкин путанно и с затаенной обидой в голосе, снова после ухода ефрейтора, рассказал о всем случившемся, Луговой съежился, как от хлестких ударов в лицо.

«Чоррт... Живого человека на бруствер за какой-то задрипанный сапог и письмо родным!» — Эта мысль обдала его опаляющим возмущением.

— Сховал я его по привычке за голянищу и не иначе, вашбродь, когда сволочь эта немецкая сапог тягала, оно окаянное и приземлилось. А письмишка-то, вашбродь, зряшное, хозяйское, стало быть, письмишко. Ей-богу, больше насчет больной коровы. Лишняго — ни полсловечка. Никогда себе не позволим. Не первый год на фронте. Только здесь смекать надоть. Не в бумажке, вашбродь, закрутка. На примете я, с той самой рождественской смуты-то, вот оно что.

— Как на примете?

— Очинно просто даже, вашбродь. Шныры есть среди нашего брата. За осьмушку махорки батьку родного продадут. Наболтал я тогда лишняго с земляками, ну и поприметили. Одним словом, солдат я решенный, на манер смутьяна, выходит. Только вот тебе хрест, вашбродь, как перед чудотворцем Мирликийским скажу: никакой этой смуты не знаю, не ведаю. А что маятно на фронте, так и все говорят. Кто до дома не охоч? А что касаемо их высокоблагородия Ставрогова, так рази они православные? В них сердцу нету! Они на жалованьи, им только крамолу истравлять. А письмишко тут одна зацепа вроде.

Прапорщик Луговой вслушивался в спотыкающиеся слова Метелкина с таким же отчаянным вниманием, как когда-то в плавную речь дяди Семена перед уходом в военное училище и со знакомым ощущением нестерпимого стыда, которое его всегда преследовало, когда он припоминал уговаривание солдат в рождественскую ночь на рижском плацдарме.

Да, очевидно, двадцать четыре рождественских смертника — это ничтожная жертва для гражданского мира. Несомненно и

ним должны быть прибавлены сотни, а может быть, тысячи Метелкиных, чтобы гражданский мир был бы прочен и непоколебим. Можно, очевидно, по суду и без суда — прямо на бруствер.

«Исторический ход вещей» — сказал бы дядя Семен.

И прапорщик Луговой с омерзением подумал, что он должен будет таскать эти жертвы на заливающийся кровью алтарь гражданского мира.

А разве он уже не таскал — тогда, на невидимом аркане собственных слов «о долге перед отечеством», при уговаривании вверенной ему роты?

— Дядя Семен... Дядя Семен... — укоризненно, забыв о присутствии рядового Метелкина, шептал Луговой.

— Ваше благородие, ежели есть у вас папаша и мамаша, не дайте занапрасно невинному погибнуть. Дома трое на четвереньках ползают, да хворая старушка мать. Если есть папаша и мамаша — понять можно.

Прапорщик Луговой испуганно взглянул на понуро стоявшего перед ним солдата четвертого отделения четвертого взвода вверенной ему второй роты.

«Если есть папаша и мамаша...»

«Дядя Семен... дядя Семен...» — еще раз укоризненно подумал Луговой.

Тяжело одиноким, замкнутым Метелкиным и Луговым в многомиллионном воинстве русского отечества.

«Если есть папаша и мамаша...»

Чоррт... Ведь когда это издевательство на бруствере состоится, судьба Метелкина до жути будет схожа с судьбой Петра Лугового — отца...

Значит, на смердящий алтарь гражданского мира он, прапорщик Луговой, собственными руками кинет солдата Метелкина — двадцать пятого смертника?

Луговой схватил телефонную трубку:

— Алло!.. Витебск!.. Витебск!.. Капитана Ставрогина срочно к телефону... Алло!.. Господин капитан, говорит командир второй роты прапорщик Луговой. Прошу разрешения явиться к вам по делу солдата вверенной мне роты — Метелкина... Как?.. Хорошо... Слушаюсь!..

— Метелкин, останешься здесь. Я поговорю с командиром батальона.

— Слушаюсь, вашбродь, покорнейше благодарствуем.

А в блиндаже капитан Ставрогин тоненьким фальцетом тянул:

— Неисполнение приказания?.. Неисполнение приказания офицером армии его императорского величества?! До покумекали ли вы, душечка парпорщик, чем это попахивает? Чик — и ваших нет, едрихен-штрихен. Ведь вы, кажется, в Павловском училище были?

— Так точно, господин капитан.

И Ставрогин убедительно, на пальцах продемонстрировал перед прапорщиком производство выстрела.

Луговой стоял, вытянув до отказа свою плотную, высокую фигуру, по уставу держа руку у козырька и смело, в упор глядя капитану в глаза.

— Господин капитан, я согласен, что можно отдать солдата под суд, но ставить на бруствер — это самосуд!

Капитан явно любовался стойкою прапорщика.

— Самосуд?!. Скажите, какие вы, господа студенты, гуманные. Знаете, Александр Петрович, вы меня извините, но вы замечательно, прямо бесподобно, напоминаете мне одну мою старую, нежнейшую тетушку. Когда она топила котят, знаете, этаких маленьких, совершенно невинных котят, она непременно нагревала им воду... Это, душечка, Александр Петрович, у вас тетушкин гуманизм, уверяю вас. Котята-то пищали и в теплой водичке. Да-с. А может быть, вашему котенку Метелкину выигрыш будет. Ну, понимаете, все равно, как двести тысяч на голову свалится: ни одна пуля, быть может, этого мученика не пожелает. Как? А? Пусть, пусть он, сукин сын потрепещет, на пользу себе и другим.

Капитан был уже склонен считать случай улаженным.

«Чоррт, нашел же отец мужество за свои идеи итти на виселицу» внезапно пришло Луговому в голову.

— Я, господин капитан, не уйду от вас, пока вы не отмените ваше приказание.

— Что-о?! — глаза капитана до предела округлились.—Отменить приказание? Да вы, душечка, контужены или консервов перекушали... Круу-гом... Отставить!

Ставрогин быстро подошел к Луговому и хлопнул его по плечу.

— Опустите руку... Люблю молодых людей, играющих ва-банк. Не хочется из за какого-то шмаровоза терять хорошего офицера. Только для вас Александр Петрович. Но советую — бросьте вашу университетскую филантропию. К добру не поведет. И охота из-за каких-то паршивых солдафонов нервы портить.

С невероятной наглостью капитан улыбнулся, грациозно склонив свою голову набок.

— А ведь я вас, Александр Петрович, тут же на месте мог бы: чик — и ваших нет, едрихен-штрихен.

И капитан опять наглядно показал на пальцах производство выстрела.

— Ну, да ладно. Если бы не ваши заслуги в ту проклятую предрождественскую кашу на рижском плацдарме, честное слово офицера, закатал бы я вас сейчас под суд, а вашему Метелкину пришлось бы сделать парад алле на брустверр. Кру-у. . .у. . .гом!..

Капитан явно был доволен выправкой Лугового.

— Оставить!.. Итак, рядового Метелкина под надзор. Если письмо в течение двух дней не найдется — арестовать, в штаб полка, далее в штаб дивизии и далее, далее, одним словом, на полевой жандармерии до контрразведовательного отделения штабармии. Понятно? Так. Но подлецу об отмене ни слова.

— Так точно, господин капитан.

— Кругом!.. и до свиданья! Будьте молодцом — послезавтра наступление.

Все это очень напоминало жирные колени тети Альвины и толстый ремень в детстве.

И когда прапорщик Луговой почти ползком из блиндажа капитана пробирался к своему убежищу, под грохот рвавшихся немецких снарядов и гнусавый свист оголтелых осколков, он сквозь зубы все время сплевывал от непоборимой тошноты.

Гражданский мир... Гражданский мир. Под сладчайшую музыку слова «отечество» гражданский мир между капитаном Ставрогиным и рядовым Метелкиным?.. Между Ставрогиным и Луговым?

Луговой надсадно плевался до самой землянки.

— Метелкин, я говорил с капитаном: на брустверр — отставить, но под надзор. Кроме того — язык за зубами.

— Под надзор, вашбродь, мы не супротив. Привыкший. Известно, у кого папаша и мамаша — понять должны. Покорнейше благодарствуем. А насчет языка — как сыра земля, не первой день — понимаем. Покорнейше благодарствуем. Разрешите итти?

— Иди.

■

Когда Луговой услышал рассказ телефониста, он судорожно схватился за свою полевую сумку. Ему никак не удавалось освободить застегивающий сумку ремень из-под маленькой пряжки — руки от волнения действовали словно чужие.

«Как мог я забыть?!. Нет, так забыть!» — подумал он, отстегнув в конце концов ремень от пряжки. — Но какая случайность!.. Какая случайность»...

Однако письмо было реальным явлением в общем наплыве ночных событий.

Вот рука Лугового в полевой сумке нащупала обрысканный глазами еще там, в ходе сообщения при свете зашныряющего немецкого прожектора, в четверть сложенный небольшой кусок грубой шершавой бумаги.

Палец нажал маленькую, холодную кнопку на карманном электрическом фонарике. Берлога капитанского блиндажа неожиданно как бы попадает в лунные лучи.

Нет сомнения: в письме все то же, что так бегло прочел Луговой, сидя в нише рва при тревожной пляске прожекторного щупальца: «Любезный брат Парфен. Поклон от брата вашего сдино... и матушке страдалице нашей Прасков... еще прошу прописать как наша буренка — отошла али...»

Да, письмо явно хозяйственное.

«Как мог я забыть» — еще раз укорил себя Луговой и бережно спрятал письмо в правый карман шинели, потушив фонарик.

«Чоррт, какая случайность!» — все еще не был он в силах перешагнуть через свое изумление, которое так запоздало явилось только теперь в капитанском блиндаже. Но факт был неопровержен. Какие побуждения заставили ландштурмиста пехоты прусского юнкера сохранить письмо рядового русского Сибирского стрелкового полка?

Но прапорщика Лугового уже не это интересовало.

Его поразило, что подслушанный разговор телефонистов подействовал на него как холодная ключевая вода, которой удалось напиться на походе после утомительного марша в жаркий пыльный день.

Маленький Метелкин — он вышел невредимым из порохового шторма штыковой атаки, чтобы остаться под угрозой смертельного издевательства на бруствере.

Как хорошо, ох, как хорошо, что в истерзанной памяти нашелся уголок для письма рядового Метелкина!

И далекое, избитое прикладом и простреленное наганом тело в немецком ходе сообщения не давило уже прапорщика Лугового таким беспросветным безвыходным кошмаром.

«Но капитан Ставрогин!.. капитан Ставрогин!..»

Это еще за два дня перед самой атакой в этом самом капитанском блиндаже поблек ореол пленительной, героической ро-

мантики штыковой атаки, этого высшего выражения доблести, отваги и беззаветной преданности отечеству. Это тогда, когда прапорщик Луговой на короткое время вышел из шеренги капитанов Ставрогиных и отчаянно стал в бесконечный ряд серых Метелкиных, потерялась готовая формула, напоминавшая внятно и всегда: во имя чего крошатся прикладами человеческие черепа и решетятся штыками человеческие груди. И вот почему тогда, когда Луговой бежал на «ура», ему было так жутко, так непреодолимо жутко.

Бег в атаку был неизбежным вращением одного из многих миллионов маленьких колесиков огромной смертоносной машины великодержавной войны. Чтобы этому колесику остановиться, надо было ему выскочить из хитросплетенной системы машины. Колесико вращалось до момента нелепого, никчемного выстрела в немецком ходе сообщения.

Теперь прапорщик Луговой с суровой отчетливостью видел, что он стоит против машины войны.

«О, эта лживая музыка сладчайшего из слов слова «отечество»! Это она на разных флангах укачивала Луговых и Метелкиных... Но гражданский мир с машиной войны — чоррт... до чего наглая ложь!»

И Луговой судорожно сжимал свои большие крепкие пальцы в готовые к удару кулаки... Но голыми кулаками по машине войны?

Ясно только одно — нельзя стоять против машины войны, опустив бездеятельно руки. Тысячи Ставрогиных обслуживают эту громаду и впрягли в нее сотни миллионов Луговых и Метелкиных.

Да, именно «обслуживают» и «впрягли». Ставрогин — это ведь тоже только одна деталь всей сложной системы, созданной для того, чтобы безостановочно говорили пушки, пулеметы и винтовки...

Есть более хитрые, более спокойные и уверенные владельцы этой машины.

Но для охраны ли собственности этих владельцев студент юридического факультета Луговой, ныне прапорщик Сибирского стрелкового полка, как жрец посвящался бойкими доцентами, степенными деканами, седовласыми профессорами Петербургского университета в законодательное и судебное таинство поседевшего вдрызг «Римского права»?

И не они ли безраздельно владеют бесконечными полями фронта и тыла и всем движимым и недвижимым на этих обжигаемых сейчас порохом, огнем и газами полях?

И не для того ли, чтобы им было сытно и жирно, дяди Семены сочинили гнуснейшую сказку о гражданском мире?

И во всем этом Луговому сейчас казался самый невероятный ужас, ужас в тысячи раз сильнее кошмара, кровавым туманом всплывшего перед ним в холодном рве немецкого хода сообщения.

Свое убийство теперь Луговой воспринимал, как один из неизбежных, закономерных ударов механизма, включенного в общую систему окровавленной убойной машины. Но разве этот удар страшнее, чем удар того же механизма при уговаривании роты на рижском плацдарме, может быть, косвенно, но все же сваливший двадцать четыре смертника в черную яму тления?

Еще миллионы выстрелов, подобно его, прапорщика Луговского, выстрела, потушат миллионы жизней, подобных жизни несчастного рядового ландштурмного полка Ганса Клебар, рабочего тридцати пяти лет, отца безработного и голодного семейства ровно в шесть маленьких и больших душ.

Но машина дает перебои.

Отказ доблестного стрелкового полка итти в наступление под лживые напевы рождественской патоки и чугунно-свинцовой анафемы пушек, пулеметов и винтовок — разве это не перебой? А его, прапорщика Лугового, бунт против капитана Ставрогина в этом самом капитанском блиндаже? А слова самого маленького, забитого солдата его, прапорщика Лугового, второй роты — смутьяна Метелкина?

Луговой был уверен — он не будет стоять, опустив руки перед ставрогинской машиной.

■

— Бр...р...р!.. Едрихен-штрихен... Все уши засыпало.

В блиндаж вошел капитан Ставрогин.

— Александр Петрович, душечка, вы здесь?.. А... а... Вот хорошо... Видите, как я о вас забочусь. Это ведь я этому дураку Незвездину приказал вас доставить сюда, а то эта дура намеревался вас тащить прямым сообщением на полковой под эту чертовскую артиллерийскую стрельбу... Девяткин!.. Огонь!.. На носках!.. Девяткин!.. Вот еще, богородица пехотная, куда его занесло?

Капитан Ставрогин чиркал спичку за спичкой. Озябшие пальцы дрожали и он с трудом запалил фитилек коптилки. Потом он ловким ударом, как на уроках бокса, вышиб в простенке блиндажа чурбан из квадратного отверстия над кроватью, где

лежал Луговой и, нечаянно задев при этом вывихнутую ногу, любезно кинул Луговому: «Простите, Александр Петрович», и сердитым голосом в отверстие:

— Будут спрашивать — сказать: командир батальона отдыхает, обращаться к командиру третьей роты. Понятно?

Когда чурбан от удара капитана выбросился в отделенную для телефонистов половину блиндажа, там послышался вскрик человека, внезапно вырванного из чуткой дрёмы неожиданным толчком.

И сейчас, в ответ на капитанское «Понятно», раздалось испуганное «Слушаюсь».

— Закрой! — крикнул Ставрогин.

В отверстие послушно втиснулся чурбан.

— У... у... у... х... устал.

Луговому фигура капитана, отягченная всеми атрибутами походного снаряжения, при мрачном свете коптилки напомнила средневекового заплечных дел мастера, уставшего после отвратительного ремесла.

— Едрихен-штрихен, что еще этому господину немцу нужно? Дело, кажется, к утру идет. Наша дивизия меняет дивизионные кальсоны — мы снова в родных окопах... Пора бы этой немецкой пивной заднице на боковую.

Капитан на минуту прислушался к затихавшему урчанию артиллерии, глухо отзывавшемуся в блиндаже.

После нервного напряжения в пекле ночной атаки, он был готов говорить без умолку:

— Ну-с, как нога?.. А-а, — разрезали вам сапог?.. Правильно... Да никак компресс присобачили?.. Блестяще... блестяще!..

Ставрогин закурил и протянул портсигар Луговому.

— Что, не желаете?.. Напрасно... Знаете, сегодня вы были особенно молодцом. О, не возражайте! Если бы все прапоры так умели жертвовать собой и показывать такой пример нижним чинам! Тогда бы... Мне, Александр Петрович, немного удалось за вами понаблюдать. Так итти впереди роты под этот чортов шурум-бурум немецкой артиллерии... Нет, это класс, прямо по-гвардейски. Я уверен, душечка, если бы не ваша рота, — батальон мой и до первой линии не доплел. Жаль, что вас не во-время этак сковырнуло... А то пришлось бы на моем участке господину немцу вспомнить свою Амальхен уже на третьей линии. Ведь без вас роту сразу застопорило, а она была впереди всех. Сами знаете, на других ротах сейчас шляпа на шляпе, ни студенты — ни офицеры.

Луговой чувствовал, как от этой хвалы капитана все тело его насыщается тяжелой ненавистью до несносного зуда в кончиках пальцев, но он остался лежать и внимательно следил за капитаном.

— Александр Петрович, я никогда не ошибался в людях. У меня нюх. Я с первого раза, когда вы пришли в полк, определил: из этого будет офицер. Это все враки, что прапора болтают о нас, кадровых. Мы никогда не будем сторониться интеллигенции, идущей с нами. Нигде, как на войне, к чертям летят эти, как их там, общественные перегородки, что ли?

Луговому показалось, что он не сдержит себя и сейчас привстанет, но, сделав над собой усилие, он придержал свое тело на кровати, и только лицо его оживилось иронической улыбкой.

— Гражданский мир, — подсказал он капитану.

Но капитан, подходивший в это время к кровати, не расслышал или не понял.

— Да вы не краснейте, душечка Александр Петрович... Если и были у нас с вами кой-какие там qui pro qui, то с кем и когда это не бывает.

Луговой понял, на что намекает капитан и он ощупал в кармане шинели письмо Метелкина, будто это был камень, который он сейчас бросит в капитана.

— Евгений Геннадиевич, я забыл вам доложить, вы мне сейчас напомнили. Я нашел при дополнительном обыске у Метелкина письмо в вещевом мешке.

И спокойно протянул вчетверо согнутую грубую, шершавую бумагу капитану.

— Да что вы? Вот повезло этому прохвосту. Жаль, жаль, а я бы его с удовольствием закатал.

Капитан взял письмо и, не разворачивая, небрежно опустил в карман шинели.

— Однако, Александр Петрович, много еще этой студенческой филантропии в вас торчит... Даже меня заразили — я тоже филантропией занялся: уже говорил с полковником; мы решили за сегодняшнюю атаку представить вас к награде.

Капитан, улыбаясь, выжидающе уставился на Лугового.

Луговому стало душно от знакомого ощущения стыда.

Он заворочался.

Его неудержимо влекло плюнуть капитану в лицо и он медленно стал приподниматься.

Но в этот же момент вошел денщик Ставрогина — Девяткин. Завидев его, капитан крикнул:

— Разрешение войти где, богородица пехотная? Сколько раз сказано, едрихен-штрихен? Кругом!..

Девяткин с невероятной быстротой и ловкостью выскочил...

— Разрешите войти, ваше высокоблагородие?

— Попробуй!

Девяткин вошел. Жестяная кружка, брошенная капитаном, ударилась Девяткину в грудь и, отскочив, уже по земле покатилась к ногам капитана.

— Пшел! — спокойно процедил капитан и, увидев приподнявшегося прапорщика, любезно сказал:

— Вы, пожалуйста, лежите, Александр Петрович. Сейчас придут эти чортовы носилки и мы вас отправим на полковой к Николаю Григорьевичу. Хотите коньяку? Напрасно. Вам бы не вредно согреться.

Капитан сорвал со стены висевшую солдатскую фляжу, поднял жестяную кружку, валявшуюся у его ног, обтер ее сверху рукавом шинели, а изнутри извлеченным из кармана галифэ носовым платком и налил золотистую жидкость.

— За ваше здоровье, Александр Петрович! — Капитан осушил кружку залпом и закусил круглой плиткой шоколада.

— Да... Александр Петрович, вы же прямо первой гильдии охотник на крупную дичь. Совершенно, знаете, из головы вылетело. Подпрапорщик ваш, эта дура, Незвездин, доложил мне, что вы здорово разделали одного немецкого болвана. Всю морду, говорят, распотрошили и бок легонечко этак до самой селезенки продырявили... Да вы не волнуйтесь. Понимаю, великолепно, душечка, понимаю — с первого раза всякие там мыслишки полезут, но потом обойдется.

И капитан необычайно оживился.

— Вся, душечка, механика вот в чем зарыта. Надо твердо знать — во имя чего. Когда молодым подпоручиком в пятом году я попал в карательный отряд в Прибалтийском крае, я тоже, можно сказать, на первых порах морду ворочал. А потом, представьте, попривык. Даже во вкус вошел. Сам чикал. Наган к затылку, легкий этакий нажим на курок и — ваших нет, едрихен-штрихен. Так будет и с вами, Александр Петрович. Тяжела только, как говорится, первая сотня немцев, а потом пойдет.

И капитан как-то омерзительно захихикал.

Луговому до физического отвращения стало неприятно и томительно.

Как-то при проверке окопной службы, в запущенном, полузасыпанном немецкой артиллерией окопе, навстречу ему попалась большая трупная крыса. Луговой до того опешил, что прио-

становился, и на момент остановилась и крыса и как-то странно, по-собачьи присела, нахально взглянув на него. Вне себя он выстрелил в крысу из нагана и убил ее.

Сейчас ему показалось, что со лба говоруна капитана нагло глядят на него омерзительнейшие глаза этой трупной крысы. Лугового стало подташнивать, словно он проглотил отвратительные помои. Он весь съежился, — вот такие Ставрогины, верно, вешали его отца.

И с таким дядя Семен торжественно заключил и заставил его, Александра Лугового, заключить гражданский мир!

И молниеносные вспышки памяти через случай на рижском плацдарме, через понурую фигуру Метелкина, через рискованный разговор с капитаном в этом самом блиндаже перед атакой, привели еще раз Лугового к немецкому ходу сообщений с исковерканным трупом в простреленной шинели.

«Schuft! ! .» — вспомнил он жуткое слово, выхарканное ему в лицо в предсмертной агонии рядовым ландштурм-регимента Гансом Клебер.

Нет, он, Луговой, не виноват...

Это оскорбительнейшее слово не может, не должно на нем остаться нестираемым плевком.

Луговой сделал отчаянное усилие, приподнялся на кровати — большой и грозный.

В упор лихорадочным взглядом нацелился в мясистое лицо любезного капитана Ставрогина.

Освобождая затаенное в жутком напряжении дыхание, вместе с выталкиваемым из легких воздухом, вернул он капитану хриплое, колючее, как проволока на позиции, немецкое слово: «Schuft» и, почувствовав небывалое облегчение, громко, раздельно добавил: «п-о-д-л-е-ц»!

Затем, ослабев, снова откинулся на соломенную подушку, продолжая тихо, как бы в забытьи, шептать:

— Schuft... подлец...

Капитан воспринял немецкое «Schuft» как хрип.

Русское «подлец» рвануло ожогом.

Он опешил — слово выстрелило настолько неожиданно и нелепо, что капитан в первый момент не уяснил себе всю его тяжесть и оскорбительность.

Положив правую руку на кобуру нагана, он вплотную подошел к лежавшему на его походной кровати прапорщику Луговому.

— Вы с ума сошли?

Но то, что он увидел на кровати, сразу сбило его тревожную настороженность.

В лице прапорщика не было ни кровинки. Само лицо, с тяжело замкнутыми веками, казалось невероятно спокойным. С этим спокойствием абсолютно не гармонировал смысл слова «подлец», которое безостановочно шептали синеватые губы Лугового.

Покачав недоуменно головой, капитан отошел от кровати. Выпил вторую кружку коньяку, опять закусил круглой таблеткой шоколада «Кайе» и совершенно спокойно закурил новую папиросу.

Когда пришли запыхавшиеся санитары, Ставрогин вырвал листик из полевой книжки и аккуратным почерком написал записку полковому врачу.

Уважаемый Николай Григорьевич!

Очень прошу Вас, отнеситесь с особой внимательностью к Александру Петровичу. Бедняге не повезло. Во время сегодняшней ночной атаки вывихнул ногу и разбил висок. Но надо проверить, кажется, он вдобавок контужен, чего сам не подозревает. Николай Григорьевич, пришлите обещенного — бутылочки две, а то тоска смертная.

Капитан Ставрогин.

Было уже раннее белесое зимнее утро, когда санитары выносили из блиндажа прапорщика Лугового.

Луговой спокойно лежал на носилках. Он бережно придерживал одной рукой полевую сумку с письмами, документами, карточками дорогого ему ландштурмиста Ганса Клебер, а другой задорно нажимал кнопку все еще болтавшегося на груди электрического фонарика, по-мальчишески любуясь слабым уже миганием белого глазка лампочки.

Ему казалось, что в это белесое утро несут его, под урчание немецкой артиллерии, от жирных, омерзительных трупных крыс мимо нелепо и беспомощно разводящего руками и пожимающего плечами, когда-то милого дяди Семена, мимо ненавистного, тихого бездетного семейства тети Альвины Карловны к неизвестной могиле отца, к новой жизни для борьбы против опаснейшей, одурманивающей, насквозь лживой музыки о гражданском мире...

Поиски разведчиков

НУЖНО БЫЛО непременно с неумолимой последовательностью восстановить в памяти весь пробег событий.

Да, как же это было?

Володя — член школьного литературного кружка имени Достоевского. И этот жуткий случай с Петей Зайцевым, председателем кружка: неожиданное, нелепое самоубийство!..

Кошмарное, гнетущее время: тяжелый зной над затхлым болотом перед надвигавшейся грозой, не сулившей давно ожидаемого освежения. Но грохот этой грозы срывался уже с негодующих строк предсмертного письма Пети Зайцева к Володе. Письмо звало к бунту. Правда, оно указывало только на одного из неприятельского стана: грузного инспектора гимназии, прямого, но неразоблаченного виновника смерти Зайцева...

И все разрешилось коротким громовым ударом: Володин роковой плевок на инквизиторском допросе зачинщиков незаконнорожденного литературного кружка имени Достоевского. Плевок повис белым клочком пены как раз на кончике солидного носа инспектора Фрей.

А затем?.. Внезапное, полное одиночество.

Весь мир, казалось, противостал дерзкому семнадцатилетнему мальчишке, с такой неприличной повадкой отомстившему за преждевременную смерть товарища. О, подумать только, во сколько раз тяжелее этот «шокинг», чем бездымное убийство инспектора Фрей! Даже отец и мать шарахнулись в смятении от сына.

И вот из могильной темноты кошмарных веков пришла незабываемая, подлая пытка...

Темный угол школьной раздевальни... Володю не вели сквозь шпицрутеновский строй. Но молчаливые ряды вешалок настойчиво напоминали шеренги выстроенных для экзекуции солдат. Не было ни барабанного боя, ни громких криков команд...

Дворник Антип, служитель Краснов и толстый швейцар Иван, с большой серебрянной медалью «за усердие», положили

то, что называлось гимназистом седьмого класса Владимиром Чаевым, на пыльный пол раздевальни. Дальше все произошло как в далеком прошлом. Какая-то беззастенчивая инсценировка девятнадцативековой «Бурсы» Помяловского...

Антип и Краснов держали Володино тело за голову и за ноги. Иван заботливо обнажил Володю и он же с усердием отсчитал пятнадцать ударов розгами, отпущенных педагогическим советом с раболепного согласия отца Володи, для того, чтобы он, Володя, почувствовал всю тяжесть своего плевка на бакенбардном лице инспектора Фрей...

Была, конечно, животная омерзительная боль, заставившая укусить руку дворника Антипа. Но сильней этой боли был испепелявший раненое сознание стыд.

И все это оказалось недостаточным: инспектор требовал еще осознания своей вины и извинения. Однако, пыткой этого не удалось добиться...

И дальше: безумные просьбы матери, родившиеся в хаосе отчаянной жалости к поруганному сыну и не менее отчаянной рабской боязни сильных, имеющих власть людей, располагавших жизнью забитой учительской семьи.

— Володя, остался один какой-нибудь год до аттестата зрелости! Пойми, тебя нигде не примут... Иди, тебе поможет Мишель. Ты, кажется, с ним в дружбе?..

Мать намекала на непутевого внука инспектора, негласного члена все того же литературнего кружка, восьмиклассника Мишеля Фрей, игравшего в кружке им самим выдуманную роль либерального мецената...

Володя позорно сдал: он решился пойти к Мишелю Фрей, к внуку бакенбардного, оплеванного им же инспектора гимназии...

Ведь мать!.. И потом, говорят, даже этот обвицмундированный душитель творческой мысли и молодых жизней, инспектор гимназии, не выдержал тяжести внезапных событий и свалился в тяжелом сердечном недуге.

Ведь лежачего не бьют?..

■

И как странно сложились для Володи дальнейшие события.

Как раз в тот день, когда нужно было пойти к инспектору, чтобы унизительно вымаливать разрешение остаться в гимназии до аттестата зрелости, Володя читал «Преступление и наказание».

В знакомой, полутемной передней квартиры инспектора, Во-

лодю непривычно поразили запах нафталина от старых именитых шуб в саркофагах старинных шкафов, смрад от тухлеющего старческого мяса и острых лекарств.

Прислуга еще не успела повесить Володино пальто, как в темноте передней забелело морщинистое лицо бабушки Фрей и неясно стали обозначаться контуры ея маленького, но круглого торса.

— Здравствуйте, Володя, здравствуйте!.. Как это, бог ты мой, только могло случиться?!. Вы — такой хороший мальчик и вдруг!.. И еще этот крест наш тяжелый: невозможный характер Мишеля... Господи Иисусе, чем это все кончится?..

И бабушка Фрей свой печеный яблок уткнула в нежный батистовый платок.

Володя неловко и торопливо пожал ее микроскопическую сморщенную руку и, неуклюже шагая, прошел в комнату Мишеля.

Мишель сидел в стареньком мягком кресле у ломберного столика. В одной руке он держал книгу, а другой удил в хрустальной вазе, на которой были наслоены куски мармелада.

— Ну хоть один живой человек в этом чортовом склепе!

Мишель сказал это невнятно, потому что, выбрасывая слова, одновременно дожевывал мармелад.

Володя промолчал.

Мишель выжидающе уставился на него. Не дождавшись ответа, подвинул к краю стола хрустальную вазу и предложил Володе: «Ешь».

Затем, как будто что-то вспомнив, кривляясь, почти-что продекламировал:

— Наказанный, но благородный преступник, внемли: ты уже прощен!

И, засмеявшись, обычным голосом добавил:

— Три к носу — все пройдет!

Он вскочил с какой-то неприятной нервозной резвостью, резким движением швырнул книгу на пол. При этом он толкнул столик и хрустальная ваза расплескалась радужными лужицами на полу рядом с книгой.

— Я, Вольдемар, все уже устроил. Старику вчера было немного легче и я ему сейчас же соврал, что ты приходил и плакал, и каялся, и рыдал, и умолял простить тебя и оставить в нашем латыно-греческом заведении... Иначе!.. Иначе — получится второй Петя Зайцев...

Мишель опять засмеялся. Его желтоватое, птичье лицо обнажило длинные, но странно узкие обкуренные зубы. Пенсне

на остром носу играло наглыми зайчиками. Сделав какое-то замысловатое движение всем телом, он снова воткнулся в кресло.

— Всякие бабушки и мамушки тебе, конечно, прожужжали уши, что ты виновник предсмертных мук почтенного Бернгарда Антоновича Фрей? Глупости, мой дорогой Вольдемар!.. Глупости!.. Старика не это сковырнуло.

Мишель в самодовольствии вытянул до отказа свои тощие ноги-палки.

«Бульонные ножки» — вспомнил Володя школьную кличку Мишеля.

— Ты, Вольдемар, слушай! Только смотри не сдохни от удивления. Я заявил во всю свою глотку на весь этот чортов склеп, что не хочу учиться, хочу жениться... Так говорил Заратустра! Ха!.. ха!.. ха!

Поймав выражение неудовольствия на лице Володи, Мишель вдруг стал серьезен.

— Шутки в сторону! Действительно, я им сказал, что хочу жениться, срочно, немедленно, на Валентине Падаевой, на этой прелестной девушке для всех и ни для кого из театра миниатюр. Боже, что было!.. Какой увлекательный скандал в старинном семействе инспектора Фрей! Я, ей богу, думал, что они немедленно созовут педагогический совет и меня, жениха, потащат в раздевальню, но...

И Мишель вдруг продекламировал:

Мне двадцать лет
И ждет меня корона.
Париж, Париж!
Отдашь ли ты ее?

— Правда, мне всего девятнадцать, но этого все же не случилось. Безусловно, метод сей не для благородного семейства. Одним словом, в раздевальню меня не потащили. Но старик скапустился. И самое жуткое следует еще впереди. Мой милейший дедушка грозится лишить меня... Вольдемар, можешь ты постичь — лишить меня наследства?.. Ой!.. иой!.. иой!..

«Дегенерат — подумал Володя. — Прав был Петя Зайцев. Надо было гнать по шеям всех этих Мишелей». «Не литературный кружок, а кружок бомбистов — это было бы полезнее в наше время» — вспомнил он строки Петиного предсмертного письма.

Володя опустил голову. Мишель казался ему омерзительным и, чтобы не видеть его, он упорно глядел на пол.

ФР. НИЦШЕ.
Так говорил Заратустра
(книга для всех и ни для кого)

прочел он на обложке книжки, распластавшейся на ковре.

— Молодой человек не правда ли, замечательная книга?

И Мишель подскочил с той же нервозной резвостью и поднял книгу. Книга крыльями переплета билась в его задранной вверх руке.

— Этот Ницше — не глупый дядя. Но знаешь, Вольдемар, он забыл одну малюсенькую мелочь: чтобы так говорить, как говорил Заратустра, надо иметь хоть двадцать пять тысяч золотом, кредитными билетами, акциями, купонами и чорт знает еще чем!

Мишель круто, на одном каблуке повернулся кругом, щелкнув пальцами, словно кастаньетами.

Мне двадцать лет...

— Но эти черти, ах эти черти! — оборвал он вдруг начатую декламацию, повернувшись обратно лицом к Володе, — они мне житья не дают! Каждой копейкой меня попрекают. Эх-х! Хоть бы этот старый чурбан скорее умер, не успев изменить завещание.

И он внезапно обмяк; устало опустился в кресло, заложив костлявые руки за голову. Над углами большого рта набухли старческие желваки.

«Дегенерат» — еще раз подумал Володя. Ему внезапно вспомнилась прочитанная им сегодня книга: «Преступление и наказание» и, думая все еще о пытке в школьной раздевальне, о безумной просьбе матери, Володя как бы в забытьи два раза пробормотал:

— Преступление и наказание... Преступление и наказание.

В это самое мгновение лицо Мишеля поразительно помолодело от удивления и затем сразу вспыхнуло всепонимающей улыбкой. Он вскочил с той же мальчишеской повадкой и, весь дрожа, с этой ужасной всепонимающей, обнажавшей мысль до дна, улыбкой на грязно-бледном лице, с полуоткрытым ртом, вплотную приблизился к Володе:

— Раскольников!

Слово упало, как гиря.

Володя почувствовал, что в лицо ему брызнула омерзитель-

ная слюна. Он хотел приподнять руку, чтобы загородиться, но руку захватили, как показалось Володе, два холодных щупальца отвратительного спрута. В уши тысячами, маленькими штопорами ввинчивались бредовые слова:

— Вольдемар!.. Какая идея!.. Какая ошеломляющая идея!.. Но ты понимаешь... я не могу... Ты сделаешь?.. Да, да... ты должен сделать!.. Сегодня ночью можно будет... Я бабушке говорил... Ты останешься дежурить со мной у больного. . Я прошу!.. Я умоляю, Вольдемар!.. Ничтожно-лишняя доза морфия — и только...

«Гад!.. Дьявол, какой гад!.. Даже пакость чужими руками совершить хочет» — с омерзением подумал Володя и сердито вырвал свои руки из Мишелиных покойнических рук, презрительно выругавшись:

— Ницшеанец мармеладный!

Нет, к дьяволу инспекторская подачка — этот идиотский аттестат зрелости! До чего он низко пал! Мать, неужели ты не понимаешь, не видишь, к кому послала вымаливать аттестат зрелости?

И снова — ураган стыда, физической боли, раненого самолюбия, жажды мести, ненависти к людям с купонами, акциями, золотом, кредитными билетами, имеющим право располагать судьбой мальчика из забитой учительской семьи...

Нет, лучше все же запустить под эту хилую, грязно-желтую, кредито-купонную кожу холодное острие шприца с морфием... Не во имя Мишеля... Раскольникова II! Нет, конечно, но во имя Пети Зайцева и всех поруганных в казематах министерства народного просвещения...

■

Инспектор Фрей, лютеранин, лежал на широкой деревянной кровати красного дерева. Над изголовьем умирала желтая лампада перед большим образом Спасителя — бабушки Фрей, православной.

Сейчас инспектор походил на старого обрюзгшего, больного сен-бернара.

От горячих метаний и пота великолепие инспекторских бакенбард поблекло.

Володя сидел на вращающемся стуле перед большим в кричаще-золотистой оправе трюмо. В зеркальном канале стыло просвечивавшееся через большие окна блеклое весеннее небо. Володя глядел на это отраженное в зеркале небо и, как монотонный звук падающих капель, в сознании глухо все время отдавался

навязчивый подсчет: раз!.. два!.. три!.. четыре!.. И каждый раз до пятнадцати, потом сначала. Так он, во время подлейшей пытки подсчитывал про себя усердие швейцара Ивана...

Вдруг в комнате послышался паровозный выдых задыхающегося старика.

Володя понял, чего он ждал.

Старинные, как все в этой дряблой комнате, часы закашляли и два раза будто с трудом выхаркнули мокроту.

Старик заколыхался под стеганым, душным одеялом. Горбом вздулась грудь. Жилы на рябистой шее напряглись толстыми веревками. Синеватый язык медленно выползал из бескровной щели рта.

Но тяжелые веки еще плотно закрывали глаза.

«Лежачего не бьют?!.

«А там, в раздевальне? Разве там били гордо стоявшего и имевшего право и средства защиты юношу?

«Больного, измученного, придавленного кошмарной эпохой к грязному полу мальчика — вот кого там били!»

И Володя с тяжелым спокойствием подошел к кровати. Без всякой жалости, но и без малейшей жестокости схватил он старческую руку, бившуюся на одеяле, как рыба вытащенная на сушу, и поднял свою правую руку. В горячей ладони плотно был зажат маленький шприц.

Тяжелые веки приподнялись и остекляневшие глаза с собачьим испугом глянули в Володино лицо. Занесенную руку Володи задержал хриплый крик, стрельнувший из бившейся в последних корчах огромной туши инспектора.

Володя выпустил ледяные пальцы старика и отошел к зеркалу. Он все с тем же спокойствием отложил неиспользованный шприц на подзеркальник.

Все равно — инспектор Фрей был мертв.

По коридору захлюпали чьи-то шлепанцы. В глубине квартиры родился мышиный писк бабушки Фрей.

Через секунду мышиный писк проник в комнату, где лежал желанный Михаилу Фрей покойник.

■

Чаев открыл глаза.

Он тревожно стал озираться, но сразу же успокоился: над ним безмолвно повисла опрокинутая огромная воронка белой палатки.

За палаткой подсчитанным шагом шла обычная лагерная жизнь запасного пехотного полка:

Взве...ейтесь со...о...колы орла...ами!
По...олно горе го...оревать.
То ли дело под ша...атрами
В по...ле ла...агерем стоять!

Несомненно, это пела первая рота и запевалу можно было узнать: рядовой первого взвода Гавриков. Значит все было в настоящем, а не в прошлом. Однако, прошлое Чаева имело незачеркивающуюся связь с этим настоящим.

Чаев съежился, как бы от внезапно наскочившего сквозняка, хотя степной сентябрь все еще храбрился небывало теплым бабьим летом.

Он вспомнил, что ему необходимо явиться к командиру батальона.

Он взглянул на циферблат больших наручных часов. Усатый циферблат был строг, как лицо батальонного, и сигнализировал: 19 ч. 30 м.

Чаев решительно встал на ноги и, отдернув серое шинельное одеяло, вызвал денщика.

Когда денщик холодной колодезной водой поливал ему из солдатского котелка намыленные руки, он еще раз обдумал предстоящий разговор с командиром батальона.

К батальонному нужно было итти в город на квартиру, промерить пешком по пыльной степной дороге три версты, если не удастся перехватить случайного извозчика. Во всяком случае, он поспеет к 21 часу. Было даже приятно, что до нежеланного разговора с командиром батальона осталось еще больше часу.

■

— Владимир Викторович!.. Подсаживайтесь!..

Извозчичья пролетка с приподнятым верхом, почти поравнявшись с Чаевым, замедлила и без того тихий ход и стала. Чаев остановился в нерешительности. В пролетке сидел, небрежно отвалившись на потертые пыльные подушки, поручик Шарин. К Шарину Чаев уже в самом начале знакомства с ним отнесся с крайней настороженностью. Было в нем что-то хитрое, наглое и циничное, что заставляло Чаева каждый раз настораживаться, как перед смелым, опасным хищником.

— Давайте же!.. Давайте же, Владимир Викторович! Довезу! Эта бузулукская пылища — удовольствие ниже среднего.

Чаев занес ногу на подножку... Пыль действительно за-

бралась ему в глаза, хрустела на зубах и успела уже щедро припудрить его.

Шарин слыл в полку «молодцом». Так обычно кадровые офицеры полка отмечали своих любимчиков из офицеров военного времени. Он пользовался подозрительным расположением полкового командира и бригадного генерала и по каким-то неясным обстоятельствам уже второй год безбоязненно пребывал в запасном полку. Кто-то даже намекнул раз о каких-то сложных связях Шарина, в бытность его еще на фронте, с контрразведкой.

Командовал он третьей ротой. Рота славилась жестокой дисциплиной. В разговорах вне службы ее называли «дисциплинаркой». Перед одной из очередных отправок маршевого состава на фронт из-за систематического избиения и надругательства над маршевиками вспыхнул даже бунт. Солдаты были настолько озлоблены, что решились потребовать отдачи ротного командира под суд. Но с маршевиками безжалостно расправились, и Шарин продолжал командовать ротой. Он сам бил солдат редко и в исключительных случаях, но умело поощрял жестокость тщательно подобранных кадровиков.

— Вас что — Хрященок побеспокоил? Великолепно! Я тоже в город, в штаб вызывают по делу убийства капитана Решетникова. Сознался, знаете, этот чортов сын Пластунов: из мести всадил Решетникову в живот пулю. — сказал Шарин, вежливо освобождая место в пролетке для Чаева.

Случай с выстрелом в капитана Решетникова, командира третьего батальона, был широко известен в полку. Солдат двенадцатой роты Пластунов на инспекторской стрельбе будто бы нечаянно произвел выстрел и ранил капитана. Капитан от полученной раны скончался. Присутствовавший на стрельбе бригадный генерал сам приступил к следствию. Были выяснены такие подробности, которые вызвали срочное распоряжение об отправке обезоруженного третьего батальона по железной дороге на зимнюю стоянку в С. и об отзыве командира полка в штаб командующего в Казань. Шарину все это было известно лучше, чем кому-либо: он дежурил в день выстрела на стрельбище.

И, рассказав Чаеву подробности, он не без иронии заметил:

— Представляю себе, как начнет теперь с перепуга зверствовать наш Хрященок... Не правда ли, Владимир Викторович, в тылу не хуже, чем на фронте?

Чаев промолчал. Он вообще не был расположен разговаривать. Случай с Пластуновым подтвердил его наблюдения и на

фронте и в тылу. Было ясно: огромная, многомиллионная армия уже содрогается от ударов надвигающейся неслыханной катастрофы. На фронте ощутительные толчки приближающегося краха вызвали некоторое ослабление дисциплинарного нажима; здесь же, в тылу, Чаев установил обратное явление — озлобленное и, может быть, испугавшееся командование усиливало нажим до феодальной жестокости.

Шарину не нравилось молчание Чаева. Его вообще раздражал этот замкнутый, угрюмый подпоручик, никогда не лебезивший перед ним, как большинство обер-офицеров. Это и тянуло к Чаеву и одновременно рождало желание вызвать его на резкость, чтобы, воспользовавшись ею, унизить, а может быть, и «прижать к ногтю». Но видя, что Чаев упорствует в молчании, Шарин вновь включил прерванную речь.

— Н-да, чорт знает, что за столпотворение началось! Того и гляди опять раздастся: «Отречемся от старого мира». И все это «плоды просвещения». Может быть, я ошибаюсь, но я твердо уверен — тут не без вины виновата наша интеллигенция, с таким пылом натянувшая хаки и погоны в четырнадцатом. Ведь до чего дошло — многие чуть не лижутся с солдатами. Правда, дальше «поцелуев», как правило, не доходит, но, честное слово, прямо какое-то братание внутри армии! Трогательно, но не вразумительно!

Шарин задирающе скосил глаза на Чаева.

Чаева действительно рвануло на возражение, но он сразу же угас. Его необычайно поразила Шаринская фраза о братании внутри армии. Это был прямой выстрел в него, Чаева, совершенно явно различаемый намек на его демократизм с солдатами и на фальшивость этого демократизма. Офицеров, в поведении которых отсутствовал общий стиль, в полку за глаза называли «прапорами», даже если они были в чинах штабс-капитана. У Шарина был свой термин для них: «Мужиколизы».

Упорное молчание Чаева окончательно озлило Шарина. Он даже занервничал.

— Курите! — протянул он резким движением вороненый портсигар, усеянный серебряными и золотыми надписями и множеством накладных миниатюрных погон-брелков.

Чаев закурил.

— Терпеть не могу этих мужиколизов, — продолжал Шарин, яростно выбрасывая шрапнельные дымки. — Не с той меркой подходят к нашему солдату. Воображают, что если его вооружили дальнобойной винтовкой и достижением отечественной техники — противогазом Кумант-Зелинского, — то уж приобщили

к культуре. А на самом деле, надо прямо сказать, солдат наш павловский, не больше. Разве его сравнишь с французским, тем более английским. Наш солдат — деревня! Он, можно сказать, к шоколаду не приучен, и настолько же не приучен и к тонким формам воздействия.

И Шарин даже оживился. Заерзал и перекинул ногу на ногу.

— Честное слово. Вот, скажем, такая форма дисциплинарного воздействия, как арест. Вы его арестовывайте хоть сто тысяч раз, он вас поблагодарит. На губе — отдохнет, работать не надо. Ни малейшего понимания, что его лишают ценнейшего достижения человека — свободы. Честное слово, это еще народовольцы в мужиках да Толстой в Каратаевых искали душу. А мужик наш оказался сплошь земляным.

Чаев не сдержался:

— А потому — в морду или, еще чище: по-павловски — в розги?!.

Но он сразу же пожалел свою реплику: «Еще подумает, сволочь, что я с ним спорю». Он нетерпеливо высунул голову за край поднятого верха и сейчас же облегченно вздохнул: пролетка уже подъезжала к городским амбарам.

— А что? — обрадованно подхватил Шарин Чаевскую реплику, — я вам расскажу — сегодня у меня в роте такой случай. Сущий анекдот! Как тут, извините меня, в морду не дашь? На словесности вызывает унтер-офицер Криворотов, знаете, этого дурного Ицкеле-сына Хаймовича и спрашивает: «Хаймович, ну доложь ка ты — за кого воюем?» И подумайте, этот пархатый, этот первоклассный симулянт под сумасшедшего так и выпалил: «За гаспадина Ллойд-Джорджа и Пуанкаре в отдельности и вместе, гаспадин взводный». Ну, конечно, взводный выбил ему в отдельности из левого уха Ллойд-Джорджа, а из правого — Пуанкарэ. А я после доклада взводного выстукал ему их вместе. Посудите сами, под суд его чортова сына отдавать? Да он этого только добивается. Уже второй год юродивого корчит. От страха перед войной такой храбрый. Такого героя только кулаком и добьешь.

Чаев даже откашлялся от чувства гадливости, неожиданно вспомнив тут же предстоящий нежеланный разговор с батальонным. Все, что рассказал Шарин, очевидно, случилось на самом деле, но, действительно, напоминало обычный офицерский анекдот. Случай вовсе не иллюстрировал предыдущее высказывание Шарина о русском мужике. Вероятно, пересказ его нужно было рассматривать как ответ на реплику Чаева. Но вернее, это был

последний ход Шарина для вызова Чаева на решительное возмущение.

Чаев брезгливо отодвинулся в противоположный угол пролетки и, хотя отлично знал, что Шарин бывший студент путеец, сын богатого домовладельца, глухо из своего угла спросил:

— Вы кто по образованию?

— Я?.. Студент-путеец. Это, конечно, недоразумение, что я в пехоте, но к тому есть свои причины.

И, словно угадав мысль Чаева, Шарин добавил:

— Конечно, если подойти с точки зрения различных общечеловеческих теорий, то дико: студент института путей сообщения — мордобойствует! Но дело не в теории и не во мне. Дело в системе. Я — в этой системе. Система же мне не мешает. Как видите, формула несложная, вывод сам по себе напрашивается... Мы, кажется, подъезжаем... Вам отсюда ближе. А с вами, знаете, говорить приятно: вы все больше молчите.

Чаева взорвало. Вылезая из пролетки, он сердито пробурчал:

— Это от системы... я тоже в системе...

И сразу же возненавидел свою несдержанность, потому, что Шарин победоносно засмеялся:

— А система вам мешает!.. Да? Ну не сердитесь, Владимир Викторович... Я шучу... Всего хорошего!

Когда Чаев слез с пролетки, он вспомнил, что Шарин заядлый спортсмен: отличный боксер и фехтовальщик, и разговор в пролетке напомнил ему учебное фехтование на рапирах.

Вот — Шаринская ослепительная и опасная «прима»: «дальше поцелуев не доходит». Вот его стремительная, короткая «секунда»: «Мужиколизы»...

— Чушь какая!.. — сердито ругнулся он и с остервенением швырнул потухшую, недокуренную в пролетке шаринскую папироску на дорогу.

■

Командир батальона, он же временно командовавший запасным полком, ни одно из соображений Чаева не принял во внимание. Подполковник все время нетерпеливо прерывал Чаевский доклад одним коротким словом: «короче» и, наконец, сердито буркнул:

— Довольно!.. И что же в результате?

Чаев встал и подчеркнуто ясно отрапортовал:

— Господин полковник, из числа солдат вверенной мне роты

не нашлось ни одного человека, желающего произвести экзекуцию над рядовым Гавриковым.

— Пст!.. Не солдаты — панталоны кисейные!.. Стыдно, подпоручик! Боевой офицер, а рота... не рота — дом терпимости. Кто кого — неизвестно.

Чаев вздрогнул:

— Я просил бы, господин полковник...

Циферблатные усы на круглом лице подполковника деятельно зашевелились:

— Прошу не перебивать!

Но в дальнейшем разговор все же был переведен на более плавный ход:

— Я сам знаю, что надо. Но в данном случае какие там еще к чорту дознания! Если этому супчику не спустить шкуры — весь полк, батюшка, в бегах будет!.. пст!.. Милое еще дело!.. Агитаторов сукиных разводить! И без того разные жиды и социалисты шныряют. Нет, батюшка, увольте!

Подполковник возмущенно замолчал. Чаев слышал, как бесстрастно тикали его и батальонного часы на руках. Ему показалось, что циферблатные усы подполковника сорвались с губы и разбежались к ушам, где степенно распушились в пышные бакенбарды.

— И потом... Милое еще дело!.. Где вы такого унтера из бумагомаров отыскали?.. пст!.. Академия да и только!

Сейчас Чаев не слышал, что говорил подполковник, его поразила необычайная игра воображения, заставившая оживить усы батальонного.

Он пришел в себя только тогда, когда рука подполковника мягко шлепнулась об стол:

— Довольно!.. Приказ остается приказом!.. Перевести этого Гаврикова немедленно сегодня же в третью роту в распоряжение поручика Шарина и завтра перед всем батальоном его... посмотрим, не найдутся ли желающие. Понятно?

— Так точно! — хотел отчеканить по привычке Чаев, но два коротких слова разбухли в горле и никак не могли вытолкнуться наружу. Он молча принял уставную стойку.

Подполковник встал:

— Ну-с, подпоручик, можете итти!

Чаев пристально посмотрел ему в лицо. Усы были на месте, они успокоенно вытянулись влево и вправо под волосатыми ноздрями.

«Двадцать один час пятнадцать минут» — неожиданно подумал Чаев. Батальонный недоуменно разглядывал его.

— Господин полковник, разрешите обратиться? . .

— Ну-с!

— Прошу меня отправить с ближайшей маршевой ротой на фронт.

Циферблат ожил. Стрелки на секунду заволновались, но затем застыли:

— Не возражаю. . . Вы свободны! . .

■

— Что ж, я на ротного не в обиде. Тоже человек, чай, не по добру возит. А мне не в тяжесть, привыкши. Наше сословие — ломовое. Отстоял я два часика — по заслугам. Ну и точка. А этой подлюге, подлизе нашему, так и сказанул: «наябедили ротному, Митрий Ляксеич, не видать вам теперь своей трешницы». Только сволота он, взводный. Сам чорт копай — до такого не докопается. Такую он, скажу я тебе, со злости пилюлю отмочил. Откуда только ума набрался! Кляузу напачкал, да самому батальонному. . . Видал? Гавриков, мол-де, народ смутьянит, на побегушки тянет, а фельдфебель и ротный, мол, с Гавриковым нежатся. Во, сучий сын! Мало думает — два часа? Ну, батальонному что: пошевелил тараканьими да ротному — чирк: мать-растак, всыпать Гаврикову двадцать пять березовых. . . Вот оно, милый, как обернулось-то!

Сосед Гаврикова по жердочке в отхожем ровике, веснущатый ефрейтор Митькин, возмущенно крякнул:

— Во, гадюка! Шлепнуть бы его, как капитана из третьего.

— Только ротный наш не из таковских. Справедливый, образованный, видать, человек, да к тому же из фронтовых. Мне халуй его, Сироткин, сказывал. Земляки мы с этим Сироткиным, только разные: он больше по торговой части.

Гавриков смолк. На жердочку насел незнакомый ему солдат.

Солдат, сделав свое дело, скрутил себе цыгарку и вышел.

— Как получил он, ротный-то, грамоту от батальонного, позеленел весь да рапорт по болезни.

— Это он с тоски, скучает чтой-то наш, — назидательно отозвался Митькин.

— А уж не знаю, только мне и до сих пор ничего не сказывает. А взводного еще на трое суток в баню сгонял.

— Правильно! Ты службе учишь, так сам службу сполняй по уставу. Нечего не по начальству лазить. Ишь ты, хитер он больно: ты отстоял да ты ему еще — трешницу. Много этаких гадюк среди нашего брата. . . Охо-хошеньки! Служба! . . Не

служба, а дермо! — с прежней назидательностью поддержал Митькин соседа.

И уже когда оба под спущенными гимнастерками заправляли шаровары, Гавриков грустно заметил:

— И этакое выдумать! Где это слыхано, чтобы женатого человека, как сморчка какого-то, да в розги! Тьфу, не моя душа!.. — Он с обидой и ожесточенно сплюнул.

Ефрейтор Митькин, затягивая поясной ремень, внезапно огорошил шопотом возмущавшегося Гаврикова:

— Это, брат, все так... Только тут поглубже копнуть требуется... Выходит, наш брат вроде крепостного: захочут выпорють, захочут просто в морду дадут, а захочут и башку оторвут. Вот, милый, в нашем лесище с этого пенька смотреть надо. Он, скажу тебе, самый что ни на есть высокий. Ты над этим, Иваныч, покумекай. Не то, что легче будет, но злее станешь, на манер Пластунова.

■

Когда Гавриков с ефрейтором вернулись в палатку, солдаты встретили их криком:

— Эй, Гавриков, тебя взводный на чаевничание требует.

Гавриков пошел в палатку взводного.

— Ну, ты, извозчик, снаряжайся да отъезжай в третью роту. Зайди в канцелярию — возьмешь аттестат и арматурный.

— Да как же, Митрий Ляксеич, я с ребятами ведь сжившись?

Взводный унтер-офицер Штрихов, бывший приказчик лесной биржи купца Смолокурова на Волге, ехидно рассматривал Гаврикова. Они знали друг друга еще до войны. Не в первый раз этот солдат под начальством Штрихова: Гавриков работал у Смолокурова ломовым извозчиком.

— Ротный приказал. Не хочет, значит, со всякой извозчичьей сволочью знаться.

Гавриков стоял перед взводным по уставу, но пальцы рук, покорно опущенных по швам, невольно сжимались в большие суковатые кулаки.

— Эй, ты!.. Не куражься... Это тебе не на бирже!.. И ты не Пластунов, жила тонка.

И, придав своей лисьей морде еще больше хитрости, Штрихов, улыбаясь, добавил:

— Завтра перед батальоном всыплют тебе двадцать пять — будешь знать, сколько стоит трещница господина взводного!

Громоздкое тело Гаврикова стало, как огромное дерево, накло-

няться вперед — вот-вот обрушится на тщедушного Штрихова.

— Ну, ты!.. не балуй!..

Взводный схватил стоявшую у изголовья топчана винтовку.

Гавриков медленно выпрямился, застыл и, растягивая слова, процедил:

— А трешницы, лярва худая, тебе все равно не видать!

— Кругом!.. арш!..

Сироткин после поверки убирал палатку командира роты. Он набирал в рот воды и, фыркая как тюлень, обрызгивал пересохший за день пол. Потом свежим веником подмел палатку и, наконец, успокоенно уселся на койку подпоручика у стола, сколоченного из доски и короткого бревна. Увидав на столе коробку папирос «Зефир», он бережно вынул одну папироску и благоговейно закурил. Потом схватил со стола лежавшую рядом с коробкой папирос полевую книжку и манерно откинулся на подушку. Из полевой книжки выпала какая-то бумажка. Сироткин испуганно подскочил. Подняв вдвое сложенную бумажку, он развернул ее. Это оказалось уже известной ему докладной запиской унтер-офицера Штрихова с тремя резолюциями командира батальона в левом углу. Но, от нечего делать, он решил прочесть ее еще раз:

Его высокоблагородию
Господину полковнику 1 батальона
Докладная записка
От взводного унтер-офицера
1-го взвода, 1-й роты, Штрихова
Димитрия, 33 лет, женатого.

Ваше высокоблагородие. Я нижеподписавшийся старший унтер офицер 1 роты вверенного Вашему высокоблагородию господину полковнику 1 батальона Штрихов Димитрий 33 лет, женатый, доношу: Рядовой вверенного мне взвода Гавриков Иван учинил опоздание из отлучки со двора. И ко всему означенный Гавриков Иван совращает посредством уговора к побегам солдат вверенного мне взвода, а также солдат других взводов. Покорнейше и нижайше честь имею просить Вашего высокоблагородия господина полковника 1 батальона о принятии надлежащего к пресечению оного. Потому ротный командир их благородие подпоручик Чаев и фельдфебель вышеупомянутой роты Сверчков Ефим достаточного сурового внимания не проявляют.

В чем и подписуюсь с полным почтением взводный унтер-офицер 1 взвода 1 роты 1 батальона

Штрихов Димитрий

Сироткин повернул лист на 45° и в левом углу прочел:

Командиру 1 роты

1) рядовому Гаврикову в роте дать 25 розог; для исполнения вызвать охочих людей.

2) Ст. унтер-офицера Штрихова примерно наказать своей властью за обращение не по уставу.

3) Явиться лично ко мне 5/IX к 21 часу для доклада.

Вр. командующий полком

Подполковник Хрящ.

Когда Сироткин прочел хрустевшее на языке слово «хрящ», за палаткой чей-то голос тревожно взмолился:

— Ваше благородие!.. Разрешите войти?

Сироткин положил записку в полевую книжку, приосанился и важно, но с испугом глядя на входное полотнище палатки, пробасил:

— Можно!

В палатку, скользя тяжелыми сапогами по земляным приступкам, согнувшись, вошел Гавриков.

Сироткин облегченно улыбнулся, но сейчас же скорчил серьезную гримасу:

— Ты что же это, братец любезный, после поверки шляешься?.. А?.. — И он важно закрутил левый ус.

Гавриков тяжело взглянул на него.

— Брось Петра — Кирилла заправлять! Я думал — их благородие ротный здесь.

— Ванечка, милый, да ты не сердись!.. Хочешь — покури ротного табачок? — И Сироткин протянул ему пачку «Зефир».

Гавриков все еще не мог прийти в себя.

— Да ты не бойся, Вань. Наш ничего не скажет. Это тебе не в третьей. Там поручик Шарин по морде пошарил бы за это. Кури, Вань, за здоровье ротного.

— Брось волынку. Не до этого пришел. Ротный-то где?

— Господин Гавриков, честь имею доложить, что их благородие подпоручик Чаев отправились к их высокоблагородию господину полковнику Хрящ!.. Прикажете позвать?

И Сироткин принял стойку «бегом».

— Мать тебя в Христа бога!.. Я же тебе говорю: не до смеху мне. Ротный приказал меня того... в третью.

— Богородица пресвятая!.. в третью!.. к самому мордобою!.. Ну, значит, ротный вернулся... В канцелярии, значит!.. Давай закрывай лавочку.

Они поспешно вышли из палатки ротного командира.

■

Чаев по возвращении в лагерь действительно зашел в палатку ротной канцелярии и отдал распоряжение фельдфебелю

Сверчкову о немедленном переводе рядового Гаврикова в третью роту.

Фельдфебеля поразило изможденное лицо подпоручика и вялость, с которой он отдал распоряжение.

— Должно быть в городе у полковника прихватил. Экая жизнь начальству! А ты тут — день-денской в лагере.

Чаев на самом деле чувствовал себя разбитым и усталым, словно в тяжелом похмелье после безобразной попойки.

Разговор с подполковником и в особенности откровенное философствование путейца Шарина осели на сознание тяжелой копотью.

«Подлец, какая беззастенчивость! — назойливо припоминались подробности поединка с Шариным в пролетке. — метко, однако. черт, подметил: дальше «поцелуев», как правило не доходит. И тут еще этот безмозглый старый хрен со своими розгами. А силища какая... Эти Пластунов и Хаймович... если бы Гавриков... Дьявол, разобраться бы с кем-нибудь во всем этом!»

Но все эти размышления не были способны разрядить томительное чувство напряженности. Чаев понял: система, о которой так прозрачно намекнул Шарин, настолько уже мешает ему, что определенно намечается предел пассивного сопротивления. Но было у него такое ощущение, словно он преодолевал ощупью и в одиночестве опасное препятствие.

«Только не в палатку! — подумал он, когда поднялся с канцелярской табуретки — Лежать одиноко под белой перевернутой воронкой палатки с этим тяжелым грузом чувств и мыслей... брр... — И он, смощив загорелое, обветренное лицо, жестоко до боли сжал свой выпуклый лоб. Зеленоватые его глаза прищурились на фельдфебеля, будто он от него ждал совета.

— Вам бы пройтись, ваше благородие.

— Что ты говоришь?

— Я говорю, ваше благородие, вам бы пройтись, на вас лица нету...

И Чаев неожиданно мягко сказал фельдфебелю:

— Да... спасибо... надо будет освежиться...

И, оставив застывшего в любопытстве фельдфебеля, направился к бараку офицерского собрания.

■

— Ну, Вань, знаешь, не повезло! Нет ротного в канцелярии. Ушел прогуляться, говорит фельдфебель. Значит, теперя ужотки до утра не жди его. Такая, твоя разнесчастная планида. А наш бы тебя пожалел. Право слово. Особливо, если по-

просить хорошенько. Только нетути! Валяй-ка, брат, на свое новоселье, а то как бы греха не вышло какого

Сироткин растерянно взглянул на земляка. Гавриков стоял в той же унылой позе, в которой он его оставил у кипятильного куба, когда ушел на разведку в ротную канцелярию.

— Эх, а говорил беспременно там!

Гавриков с трудом переставлял отяжелевшие ноги. Казалось, подошвы прилипают к земле и с трудом отдираются. Так ему не хотелось итти в нежеланную третью роту, где ожидало его издевательство, всю мерзость которого он себе еще только смутно представлял... «Должно же случиться какое-то чудо! Не на самом же деле его, силача волжского, как сопливого мальчишку перед народом... Тьфу!.. — И он опять ожесточенно сплюнул. — В сам деле — солдат, что крепостной: безо всяких правов» — злобно подумал он.

■

Сироткин, вернувшись в палатку командира роты, старательно оправил койку и зажег на столе маленькую кухонную лампу.

Подпоручика теперь он раньше утра не ожидал. Можно было заняться самым любимым делом: проникнуть в захватывающую тайну чужой жизни, такой необычайно новой для него — сына захудалого торговца мелочным товаром.

Он из-под подушки решительно достал маленький ключик и открыл им стоявший у койки походный сундук ротного командира. Эту операцию он проделывал уже много раз. Когда он впервые познакомился с содержанием сундука, сундук оказался случайно незапертым. Потом он уже не в силах был воздержаться, чтобы не воспользоваться оплошностью или беспечностью подпоручика, прятавшего ключ под подушку. Он делал это с целью скоротать неловкое безделье в долгие вечера, когда подпоручик отлучался.

Читать чужие письма и какие-то загадочные вырезки из газет казалось ему таким интересным занятием, что он преодолевал всякий страх за последствия. Особенно его интриговали газетные вырезки. Он никак не мог догадаться, для чего они нужны ротному. Были они пронумерованы, но лежали не по порядку номеров. В номерной последовательности имелись пропуски, очевидно, часть вырезок была затеряна или уничтожена. Но самое замысловатое заключалось в том, что они почти все испещрены надписями, вопросительными и восклицательными знаками, подчеркиваниями и т. д. С письмами дело не

ладилось: большинство их было написано такими мудреными почерками, что Сироткину становилось не под силу их расшифровывать.

Он оставил сундук открытым и положил ключ на прежнее место (замок замыкался автоматически, без помощи ключа). Затем он с привычной бережностью вынул из коробки «Зефир» толстую папиросу и священнодейственно закурил. Сидя за столом на койке, он с лихорадочным любопытством стал перебирать извлеченную из сундука пачку бумаг.

За демонстративно-дерзкие выходки по отношению к чинам полиции сегодня подвергнуты штрафу в 25 р. Б. Постников, В. Иванов, В. Чаев, Г. Петров, М. Шварц.

Сироткин улыбнулся:

— Не иначе, как по пьяному делу. В морду, ей богу, фараона саданул.

На тексте красным карандашом было подчеркнуто: «В. Чаев».

Следующая вырезка сверкнула Сироткину ослепительным рисунком красавицы, сидевшей в роскошной комнате и писавшей письмо. Внизу под рисунком была надпись:

Гэбби Буасси из театра Мишель.

Тебе одному, о, Дентоль, я обязана очарованием своей улыбки.

И ниже этой надписи:

Дентоль (полоскание, порошок и паста) — лучшее общепризнанное средство для гигиены зубов и полости рта.

— Ах, язви тебя в печонку-селезенку!.. ха!.. ха!.. ха!.. А я-то думал!.. Чистая, выходит, реклама... А бабец-то, бабец — все отдай — возьми! Каравай ситного с изюмом да и только! Мать ты моя шелково-батистовая!

Сироткин оживился. Он положил вырезку рядом с собой на кровать и, еще раз улыбнувшись, послал неживой красавице на вырезке живой воздушный поцелуй.

С повышенным интересом он взялся за следующую вырезку

Париж 11-го (4) июля (от корр. «Бирж. Вед.») «Journal» заявляет, что Австро-Венгрия зашла слишком далеко. Вследствие ошибок некоторых горячих умов Дунайская монархия уже неоднократно была вовлечена в дорого обошедшиеся ей авантюры. Дело мира может быть спасено теперь только мощным словом престарелого императора, который не может допустить, чтобы последние его дни омрачились войною.

На вырезке ехидно посмеивался жирный красный росчерк: «А старик взял да омрачил».

Глубокого впечатления вырезка на Сироткина не произвела. Улыбнувшись ехидной надписи, он положил ее на место без всякой жалости.

В последнюю минуту.

Воодушевление.

Ниш (подана 15-го (28-го) июля 4 ч. 40 м. дня получена в Петербурге 17-го июля в 12 час. ночи (Срочная) (СПА).

Известие об объявлении Австрией войны вызвало большое воодушевление. Все взоры обращены на Россию.

Для характеристики поворота, назревающего в здешних антимилитаристских кругах, сообщают вам следующее заявление известного Густава Эрве:

«Мы бессильны вызвать одновременно во всех странах забастовку против войны и поэтому долг социалистов Франции защищать родной очаг нашей культуры по примеру наших предков».

На первой вырезке издевательски кривлялся сутулый вопросительный знак, а на второй — как сноп прожектора, горел восклицательный и под ним надпись: «Веселые антимилитаристы».

Сироткину стало скучно. Шли все какие-то сложные по содержанию вырезки. Следующая и притягивала и отталкивала своей длинностью, но он все же взялся за нее, не в силах преодолеть любопытство.

ПИСЬМО РУССКОГО ВОИНА.

Сегодня мать русского воина получила от сына с похода письмо, рисующее настроение русских героев.

«Дорогая мамочка, выступили мы из губернского города в чудесное солнечное утро, после молебствия, на которое собрался весь город.. Улица, по которой мы шли, была вся разукрашена: по всему пути стояли арки с надписями «Желаем победы». «До скорого свидания», «Добрый путь». Изо всех церквей выходили крестные ходы и нас кропили святой водой.

Дамы и девицы осыпали нас цветами, так, что мы шли по ковру из цветов. Народ провожал нас верст за пятнадцать за город. Шли вперемежку с публикой. Статские помогали нам нести винтовки, скатки и мешки с бельем.

В деревнях встречали нас с колокольным звоном и крестным ходом. Бабы выносили навстречу яйца, огурцы, хлеб, яблоки, квас, молоко — ведрами. Да необычаен подъем духа в эту войну у нашего народа.

Самому легче становится, видя народный патриотизм.

В одном селе остановились на ночлег и расположились по избам. В избе мы с товарищами-солдатиками заказали самовар, яичницу, молока. Хозяйка ни за что не хотела взять деньги. Вообще по дороге крестьяне все с радостью нам отдавали совершенно бесплатно, приговаривая: «кушайте на здоровье».

На всех привалах офицеры обращаются с нами как с родными детьми. В нашей роте все офицеры удивительно хорошие и добрые лю...

Сироткин неожиданно оборвал чтение. Ему почудилось, что кто-то приближается к палатке. Он затаил дыхание и стал прислушиваться. Но никто не шел. Он взглянул вторично на вырезку. Через все «письмо русского воина» тянулась зигзагом кровянистая надпись все тем же четким почерком подпоручика: «Гад окопавшийся. Врет, как сивый мерин. Сам высосал — факт».

— Правильно!.. Право слово, правильно! Соврали, как перед господом богом, соврали! Только сходно соврали, важно соврали, черти жареные!

И Сироткин, несмотря на уничтожавшую письмо надпись, довольный рассматривал вырезку. Внезапно он дернулся, как от толчка, выпустив «письмо русского воина» из рук. На задней линейке опять, но теперь уже совершенно явственно, послышались чьи-то медленные, затяжные шаги. Сироткин остервенело дунул на лампу и дрожащими руками в темноте, на ощупь, запрятал вырезки в сундук. Он щелкнул замком и пересел с койки на сундук, приняв позу уставшего человека, случайно задремавшего на сундуке.

■

Барак офицерского собрания был еще освещен, но почти совершенно пуст.

Длинные столы с белыми клеенчатыми покрышками в первом отделении, для прапорщиков и обер-офицеров военного времени, были прибраны. По обеим сторонам пустовавших столов убегали ряды таких же длинных, как столы, белых скамеек.

Только на самом крайнем правом фланге второго ряда скамеек, у стены над столом согнулась чья-то одинокая, немного сутулая фигура. Младший офицер первой роты прапорщик Би-

рилев, дежурный по полку, торопливо доедал макаронную запеканку.

Столы «чистой» половины, для штаб-офицеров и кадра, уютно сверкали накрытыми приборами и резкой белизной полотняных скатертей. За этими столами, как разведенные шеренги рот в развернутом строю, стояли, вплотную придвинутые к столам, легкие желтые стулья.

Здесь за столом, у самого пролета стены, разделявшей длинный барак собрания на две комнаты, так же одиноко громоздилась грузная туша командира второго батальона капитана Соркина. Перед ним стоял сифон, стакан и лежал открытый серебряный портсигар. Он пил сельтерскую воду, но, очевидно, где-то сильно подвыпил. Его упитанное тело торчало, как неловко приложенный к спинке стула мешок муки, — вот-вот свалится. Капитан развлекал себя прикармливанием папиросами маленького белоснежного полкового любимца, козла «Фомки».

— Бери, бери... Ах ты чорт!.. Смотри, Фома Козлов, не балуй у меня!..

Капитан, кряхтя, нагибался за уроненной Фомкой папиросой и затем яростно тыкал ею в морду сытого козла. Козел чихал и бычился.

По какой-то, никем не освященной традиции, в некоторых случаях «Фомке» предоставлялось право входа не только в собрание вообще, но и в «чистую половину».

Чаев козырнул капитану. Капитан грузно приподнялся со стула, но сейчас же тяжело осел и снова занялся козлом.

Чаев подсел к Бирилеву и, подозвав прислуживавшего солдата, заказал себе омлет.

— Владимир Викторович, что с вами? Вы очень плохо выглядите.

— Да, неприятности и, вообще, понимаете, нервничаю, — ответил Чаев.

Бирилев продолжал исподлобья, поверх стекол очков, фиксировать ротного командира. Чаеву это было неприятно и, чтобы разрядить неловкое ощущение, он решился спросить у Бирилева: получил ли тот распоряжение о завтрашней экзекуции над Гавриковым? Но подошел солдат, поставивший перед ним дымившийся на никкелированном блюде омлет, и он промолчал.

— Владимир Викторович, а старик все-таки приказал завтра этого Гаврикова... — как бы угадав мысль ротного, начал Бирилев.

— Да... да... Я знаю, — торопливо, словно пугаясь окончания фразы, перебил его Чаев.

— Как бы вам, Владимир Викторович, неприятности не вышли?

Чаев молча отмахнулся, нервно барабаня пальцами по столу. Омлет остывал нетронутым.

Бирилев, бросив подозрительный взгляд на капитана Соркина, потянулся через стол к самому лицу Чаева.

— Вообще, знаете, буза... В городе что-то неладно. Две роты под командой капитана Соркина утром в город ходили. Говорят, стреляли и, знаете, вообще... Женщины, что ли, на транспорт с мукой напали.

Чаев предупреждающе кивнул Бирилеву, указывая глазами на капитана. Бирилев испуганно смолк и в замешательстве взялся за графин с водой.

Капитан пьяными глазами уставился на офицеров.

— Поручик... ик!.. Чаев... У вас... ик!.. Прошу извинения!.. в батальоне завтра, говорят, того — представление будет: Дерут какого-то мерзавца... ик!.. Прошу извинения!

— Да, господин капитан, — глухо проговорил Чаев и встал, оставив нетронутым окончательно остывший омлет.

— Я с вами, Владимир Викторович. — Бирилев торопливо одернул гимнастерку и поправил снаряжение.

Они козырнули капитану.

— Ик!.. Прошу извинения!.. весело будет!.. бывайте здоровеньки!.. ик!..

И капитан фамильярно помахал им рукой.

■

— Терпеть не могу, знаете, эту пьяную свинью. И какое издевательство! С этим козлом! Вы думаете случайно? Нарочно: смотрите, мол, ему можно, а вам нет.

У Бирилева сильно дрожали руки и он никак не мог разжечь папиросу.

Чаев протянул ему свой дымящийся «Зефир».

Бирилев всердцах засунул в карман спички и прикурил.

— Нет, знаете, Владимир Викторович, не могу. На каждом шагу издевательства. Какое счастье еще, что я попал к вам в роту! Скорей бы на фронт, что ли? Вы, Владимир Викторович, к себе?

На Чаева опять дунул, как сквозняк, страх перед одиночеством в палатке.

— Нет... пройдемтесь. Посидим немного в дежурке.

Помещение для дежурного по полку офицера было отведено в бараке лагерной гауптвахты. Оттого что гауптвахта стояла на самом левом фланге и сильно нагревалась за день под солнцепеком, она называлась в полку «баней».

— Дело, Антон Иванович, не в козле, — сказал, улыбаясь, Чаев, когда они пошли, дымя папиросами. — Чорт с ним, с этим собранием. Я бы его предоставил козлам. Ведь тоска берет, когда на кормежку соберутся наши прапорщики, подпоручики, поручики. О чем они только не говорят, только не о том, о чем бы им хотелось. Видно, ведь, что большинству до чертиков уже приелась эта игра в офицерики. Разве самые молодые да самые законченные тупицы или явные мерзавцы, подобно Шарину, еще находят в этом удовольствие. И то молодые: похорохорятся до первой фронтовой встряски, а потом запоют «мама!» А попробуйте с ними заговорить, например, о том, как они расценивают ну, хотя бы случай с солдатом Пластуновым. Сразу же уйдут в себя, как улиты, и в лучшем случае свернут на анекдот.

Чаев снизил свой голос до хриплого шопота:

— Но многие уже пустились в разведку.

Бирилев недоумевающе и испуганно взглянул на Чаева, настолько злорадно это было сказано.

— Мне немного неясно...

— Неясно? А помните на фронте, когда в роте у поручика Цвелева разведка, а потом и вся рота, во главе с самим Цвелевым, за день до атаки побратались с немцами? И наступление пришлось отложить, а штабы дней пять под ряд кормить заранее заготовленными сводками: «На участке Н-ского полка поиски разведчиков». Хорошие это были поиски! Контрразведка в полку искала социалистов и евреев, сманивших будто бы солдат на братание, а солдаты разведывали у немцев: «Кто же войну начал, если не вы?»

— Как же, как же, Владимир Викторович, отлично помню! Как же, я знаете... — Но Бирилев неожиданно осекся. Сзади послышался перезвон шпор капитана Соркина:

Красотки, красотки,
Красотки кабарэ...

Фальшиво, но с пьяным проникновением напевал капитан.

В дежурке Чаев уселся на стуле дежурного и с каким-то остервенением затягивался дымом папиросы. Ему отчаянно хотелось говорить.

Прапорщик Бирилев, студент филологического факультета, был его фронтовым товарищем. В запасный полк оба они прибыли недавно. Случилось так, что Бирилев был легко ранен, а Чаев легко контужен в один и тот же день при наступлении у Бучачи. Худой белесый Бирилев, с синими водянистыми глазами за вечными стеклами очков, очень привязался к мрачному с виду, коренастому Чаеву. В Чаеве его привлекала серьезность, отсутствие грубости и солдафонства. Чаев особых дружеских чувств к нему не питал, но возможность говорить без постоянной настороженности, без оглядки, без необходимости маскировать свое «я» пошлыми казарменными анекдотами и тоскливыми разговорами об офицерской лихости, приближала к нему Бирилева.

Потребность говорить Чаев сейчас ощущал как неотвязную жажду. Ему казалось, если он будет сидеть молча, перед ним обязательно встанет докладная записка Штрихова, разговор с батальонным и весь завтрашний неизбежный кошмар на батальонном плацу.

Бирилева все время отвлекали телефонные звонки, посыльные, ординарцы и начальники караулов.

В промежутках между телефонными переговорами, выслушиванием нудных односложных рапортов, они все же успели поговорить о многом. К часу ночи служебная суматоха немного улеглась.

— И понимаете, — возобновил Чаев прерванный разговор, упорно рассматривая телефонную трубку, — самое нелепое в том, что сидишь в этом чортовом болоте, осознаешь всю мерзость его и, если есть решимость, силы, то нет навыков и знания, как выбраться из него. Вы думаете я верю сейчас во всю эту несусветную галиматью? Да я никогда особенно и не верил. На войну, понимаете, пошел как бы под влиянием аффекта, ей богу! Время, понимаете, такое, да к тому же еще личные неудачи... тяжелые неудачи. Да вам самим это все хорошо известно. Но ведь как обкрутили!.. как обкрутили!.. То немногое, что было ясно, и то затемнено всяким враньем.

Чаев сжал барабанившие по столу пальцы в кулак.

— Выскочить надо! Вот что! — разжав пальцы, яростно кинул он и затем уже более спокойно продолжал:

— Я, понимаете, очень даже внимательно следил вначале за всем, особенно за газетами. Но кроме лжи, как оказывается,

ничего не вычитывал. Каждый врет и врал по-своему. У меня даже вырезки кой-какие сохранились. Как-нибудь покажу. Удивляться нужно, как можно было хотя бы в малой мере поверить этой стряпне!.. Они (Чаев так и сказал «они», не оттеняя, кого он подразумевает), пожалуй, еще смеются над тем, что им удалось нас одурачить. А мы сами-то что? Если мы солдата по лицу кулаком не крестим и матом не жарим, так уже и к лику святых себя причисляем. А мало среди нашего брата, что ли, таких прохвостов, как Шарин? И, понимаете, какая беззастенчивость! Этот путеец белоподкладочный высосал для себя целую теорию, оправдывающую все, — от мордобоя до нашей запроданности Англии и Франции. Система, видите ли, ему не мешает. И, понимаете, я только сегодня со всей ясностью понял, что эти Шарины самоуверенно ходят, нагло выпрямившись, а мы все еще мямлим, как барышни кисейные, все еще чего-то ищем, ползаем ощупью на карачках, вместо того чтобы выпрямиться во весь рост. Вот неделю целую, понимаете, думаю о Пластунове. Удивляться надо и учиться...

Телефон внезапно с какой-то особенной раздражительностью затрещал.

Бирилев испуганно схватил трубку.

— Дежурный по полку слушает! Да, я — прапорщик Бирилев... Две роты на станцию. От какого батальона прикажете? Как?..

Чаев неожиданно, с какой-то поразившей его мыслью, подскочил и зажал ладонью разговорный клапан. От резкого его движения трубка вывалилась из рук Бирилева и смешно торчала в Чаевской руке.

— Посоветуйте от нашего батальона, — сказал Чаев, возвращая Бирилеву трубку.

— Да, да... Я слушаю вас... Нас прервали... Так!.. Усиленные патрули!.. Срочно разыскать капитана Соркина!.. Самому явиться в штаб полка!.. да!.. слушаюсь!

— Владимир Викторович, к сожалению придется итти... В городе опять неладно... Никого из лагеря не увольнять. Но от нашей роты только усиленные патрули...

— Жаль, а то бы, быть может, завтра... — пробормотал Чаев.

Красотки, красотки,
красотки кабаре...

— Зверь на ловца бежит, — улыбаясь, сказал Бирилев.

В коридоре Чаев столкнулся с капитаном Соркиным.

В палатке Чаев обнаружил заснувшего на сундуке Сироткина. Он разбудил его и отослал спать.

Затем, не зажигая огня, не снимая ни шашки ни револьвера, в сапогах завалился на койку.

Было неловкое ощущение стыда за все то, что он наговорил Бирилеву в дежурке.

Не слишком ли много гнева на словах? А на деле? На деле он не знал еще, что будет делать завтра.

Между тем мертвящая усталость уже свинцово оседала в теле. Недавняя контузия на фронте все еще давала о себе знать. «Вам надо будет поменьше думать, поменьше шевелиться». Так провожал его главный врач лазарета, когда вручал направление к коменданту.

Не думать, не шевелиться... Но вот уже в сознание врезаются мертвенно-прямые, как печатные, буквы докладной записки унтер-офицера Штрихова и мелкие змейки резолюции подполковника Хряща — «дать 25 розог...»

Да, с чего все это началось?

Ах, да!.. На одной из утренних поверок взводный Штрихов неожиданно доложил, что солдат Гавриков прибыл из самовольной отлучки. Прибыл?.. А когда убыл? Штрихов запамятовал... фельдфебелю было неизвестно. Чаев ругнулся. Первый случай дезертирства за время его месячного командования ротой. По уставу следовало и Штрихова и Гаврикова — под суд. Но Чаев решил: Штрихова — на двое суток под арест, а Гаврикова — на два часа под винтовку.

Потом?.. Потом оказалось, что взводный Штрихов на собственный риск уволил рядового Гаврикова на трое суток в город для свидания с неожиданно приехавшей женой. Уволил за три рубля, за четырехмесячное содержание рядового Гаврикова. И Гавриков просрочил на двое суток. Трое суток купленных и двое за свой счет — так обернулась пятисуточная самовольная отлучка, о которой так запоздало доложил вечно заискивающий и в то же время наглый унтер-офицер первого взвода Штрихов.

Но это было не самое главное. Самое главное состояло вот в чем: ему, подпоручику Чаеву, было предложено построить роту... вызвать охочих людей... повалить то, что называлось рядовым первого отделения первого взвода первой роты Гавриковым, на пыльный... пыльный пол... раздевальни... и от-

считать отпущенные по доносу унтер-офицера педагогическим советом двадцать пять розог... чтобы он, рядовой... гимназист седьмого класса... Чаев... почувствовал...

Чаев в бешенстве вскочил и стал возбужденно ходить взад и вперед.

— Это чорт знает что такое! С ума можно сойти!.. На фронте контузили, а здесь... Здесь студенты-путейцы бьют и в левое и правое ухо в отдельности и вместе.

Мысли несомненно путались. Путались со зловещей симптоматичностью. Так, наверно, начинается сумасшествие.

Нет, лучше думать о том, что сделал он, подпоручик Чаев. Он до сегодняшнего дня не выполнил приказа батальонного и за всю свою роту сказал подполковнику, что нет ни одного человека в первой роте, который бы пожелал с усердием издеваться над телом рядового седьмого класса...

— Мать твою... — застонал Чаев, — ну что за дьявол?!. Что же такое?

И ему показалось, что у него не розоватая, бугристая мякоть мозгов под черепной коробкой, а отвратительный клубок шевелящихся, переплетавшихся змей.

Преступление и наказание?..

К чему это сейчас заскочило так неожиданно в сознание? Память определенно, слишком глубоко черпнула в прошлое.

Или, может быть, так: то, что ты сидишь в системе, которая тебе мешает и есть одновременно и преступление и наказание?

Чтобы рассеять все уплотнявшийся ужас, Чаев решил зажечь свет.

Но зажженная кухонная лампа, казалось, мерцала словно какая-то до тошноты знакомая, умирающая лампадка. И позади, на входном полотнище, эта бесконечно длинная, ожидающая чего-то тень!..

Чаев резко повернулся... Дальше оставаться одному нельзя. Обратно — в дежурку, к Сироткину, в канцелярию, к фельдфебелю, в собрание — куда угодно, только бы не быть одному! Он решительно сделал шаг по направлению к выходному полотнищу и внезапно запнулся: на земляном полу что-то белело. Он медленно стал нагибаться и поднял газетную вырезку:

Письмо русского воина.

Откуда?.. Как она сюда попала?..

Но он уже начал перечитывать отвратительные, знакомые строки, и странно: жуть медленно-медленно испарялась, как вечерние росные туманы.

Как хорошо, что эта конденсированная, реализованная усовершенствованным печатным станком двадцатого века, многовековая ложь попалась ему в руки именно сейчас. Не все ли равно, как она очутилась на полу?

«Изо всех церквей выходили крестные ходы и нас кропили святой водой... В нашей роте все офицеры удивительно хорошие и добрые люди».

Да, из всех щелей: из церквей, школ, университетов, газет, тихих семейств, выползали отвратительные иуды и кропили, кропили без конца предательским, но одурманивающим обманом... Кропили, чтобы они, эти русские воины, не дай бог, не увидели вместо «дам и девиц», осыпающих цветами путь к источающей трупный смрад бойне, бесконечные миллионы вдов, сирот и обезумевших матерей и отцов. Кропили, чтобы они, не дай бог, не распознали в офицерах «удивительно хороших и добрых людях», врагов, во много раз более опасных, чем жестокие немцы, австрийцы, венгры, мадъяры, турки, румыны....

Ну, а если они сделают только один еле заметный шаг, чтобы хотя на пять суток выскочить из окропленного святой водой мракобесия вооруженного крепостничества?

Тогда.... тогда охочие люди и двадцать пять розог...

Но тут начинается обратное.

От этого можно прозреть и пойти к немцам, австрийцам, туркам и спросить: «Кто же начинал войну, если не вы?» А там появятся сводки: «На участке Н-ского полка поиски разведчиков».

Или еще лучше — можно нечаянно выстрелить в «хорошего и доброго человека» капитана Решетникова.

Да, несомненно, это все та же эпоха, которая его, Чаева, так позорно придавила к полу раздевальни.

Эта эпоха, теперь вооруженная до зубов, жиреет от крови и трупного мяса на истрескавшейся окопами земле.

Но перешейки между бесконечными окопами становятся все уже и уже. Грузной, обожравшейся кровью и мясом эпохе грозит невиданный обвал в один сплошной окоп...

Самые отважные офицеры и солдаты! Идите мимо немцев, австрийцев, турок вдоль фронта, углубляйтесь в запасные полки и дальше в тыл — в город (в городе буза — так, кажется, сказал прапорщик Бирилев?) — и ищите! Ищите виновников того, что вас уже третий год обесчещивают смертельными розгами, без счета, из винтовок, пулеметов, орудий и запросто, березовыми прутьями! И тогда (у кого как) обнаруженный враг выявит, может быть, изумительное сходство с незабвенным инспек-

тером Бернгардом Антоновичем Фрей, с нищенствующим Мишелем, внесшим финансовую поправку в книгу для всех и ни для кого», с капитаном Соркиным, любезно кормящим «Фому Козлова» и возглавляющим в пьяном состоянии таинственные походы двух рот на изголодавшихся солдатских жен в городе, с поручиком Шариным, сменившим институт путей сообщений для исторических и практических изысканий по мордобою...

Для кого как...

Но зато вы из-под груды лжи, под половодьем «святой воды», выявите заметенные концы преступления и узнаете как приступить к началу наказания.

Чаеву казалось, что он не в палатке запасного пехотного полка, а на квартире замученного Пети Зайцева, на тайном собрании незаконнорожденного литературного кружка имени Достоевского. И странно: все, что он сейчас передумал, стоя под опрокинутой воронкой ненавистной палатки, все это очень напоминало предсмертное письмо Пети Зайцева. Нужна только поправка... Масштабная, так сказать: не кружок, а армия бомбистов или стрелков типа Пластунова.

И теперь он почувствовал, как исцеляющее спокойствие обволакивает приведенные в порядок мысли.

Улыбнувшись, он сунул «письмо русского воина» в карман галифэ и дунул на лампу.

Он хотел раздеться, но странно: почему же не исчезла на входном полотнище бесконечно длинная, ожидающая чего-то тень?

Ведь свет потушен?

— Ваше благородие... Ваше благородие.

Перед Чаевым стоял человек в одном солдатском белье с накинутой кисло пахнувшей потом шинелью.

— Почто вы меня на погибель?.. На позор!.. В эту самую... третью!

Чаев опять задрожал, как в лихорадке. Мысли снова предательски начали путанную свистопляску.

— Где же это, ваше благородие, слыхано, чтобы женатого человека за трешницу да в розги?.. Крепостной я вам, что ли? Да где же это слыхано?

И Чаев видит, как сотнутый человек в солдатском белье с накинутой шинелью выпрямляется и поднимает две огромные гири — суховатые кулаки ломового извозчика...

Человек не спал всю ночь!

Человек чутко прислушивался к каждому шороху на задней

линейке. Может быть, десятки раз он выскакивал из душной палатки. Может быть, десятки раз на язвительное замечание скучавшего под грибом дневального: «обожрался, смотри — кальсоны замараешь!» отвечал терпеливо и неизменно: «припрет — забегаешь!»

Человек был в разведывательном поиске всю ночь!

Всю ночь он искал истинного виновника своего завтрашнего неминуемого позора.

И что же? Пусть он бьет!

Пусть тяжелые гири шмякнутся на голову, проламывая выпуклый лоб загорелого, обветренного лица. Это ничего, что за этим лбом только что выросла такая стройная система мыслей.

Пусть!.. Может быть, человек нашел во всем этом сходство с разыскиваемым врагом... У кого как!..

Ведь эта стройная система мыслей, так красиво вставшая, как бы на парад, за выпуклым лбом, — она не спасет человека в накинутой шинели от ожидающих его завтра двадцати пяти розог...

Какое дело ему до того, что приказал его высокоблагородие подполковник Хрящ, а не...

Но что-то хрустнуло...

Бесконечно длинная шинель осела, словно она была напялена на шест, и шест внезапно надломился.

Чаев видит крутой, стриженый, подскакивающий почему-то солдатский затылок.

Ну что ему сказать?

«Беги, чтобы усиленные патрули твоей же роты тебя на утро доставили во взвод, потому что в городе неладно (так, кажется, говорил прапорщик Бирилев)?»

Или, может быть, как отец, раболепно санкционировать служебный садизм подполковника Хряща? Нет, лучше посоветовать ему повторить выстрел солдата двенадцатой роты Пластунова.

Но, бог ты мой, вот так, наверно, выглядел стриженый затылок гимназиста седьмого класса Владимира Чаева, когда швейцар Иван с медалью «за усердие» отсчитывал отпущенные педагогическим советом пятнадцать ударов розог в пыльной, заставленной вешалками раздевальне. И так еще, наверно, вправо и влево бился затылок маленького, больного Хаймовича под ударами унтер-офицера Криворотова и путейца Шарина.

И уже тянется рука с наручными часами к этому затылку, чтобы погладить его, ну, хотя бы как мать из забитой учительской семьи.

Но все внезапно обрывается.

Слишком тяжелым оказалось вторичное смещение сознания, отягощенного последствиями фронтовой контузии. Спасительная система мыслей, родившаяся при чтении «письма русского воина», как и гневное словесное извержение в дежурке, оказались недостаточными. Требовалось чего-то большего.

И над Чаевым уже не опрокинутая воронка палатки, а бешено кружащаяся в неудержимом вихре карусель. Он тяжело опрокидывается на койку. Койка недовольно скрежещет, вгрызаясь металлическими ножками в земляной пол.

Гавриков поднимается с колен и испуганно глядит в пожелтевшее лицо на белой маленькой подушке.

Он шарахается в сторону.

Тяжелые ноги неуклюже, но быстро перебирают земляные приступки.

Бесконечно длинная тень на выходном полотнище исчезла.

За палаткой слышен приглушенный испуганный шопот Гаврикова:

— Сироткин!.. Сироткин!..

■

Сироткин убирал палатку командира роты...

«Всю ночь не удалось спать. И чего только наделал Гавриков! А жирный гусь — ротный фельдшер? Вечно пьян, когда он потребуется! Так ротный и провалялся до самого обеда. А верно здорово он зашиб вчера в городе! До белых чортиков, не иначе, напился. Чего он только не плел во сне! Богородица святая!.. А как рявкнет: «В атаку!.. Вперед!..»

И Сироткин испуганно ударил ладонью по рту: он поймал себя на том, что, сам не замечая, чуть не крича, повторил: «В атаку!.. Вперед!..»

Он подошел к койке и от удивления и неожиданности ахнул: на койке лежала измятая «шелково-батистовая» Гэбби Буасси из театра Мишель.

— Мать моя в селезенку-печонку! Как же я так опростоволосился!.. Хорошо, что ротный-то в градусах был, — бормотал он, торопливо пряча в сундук забытую им вчера на койке вырезку.

А в это же время к батальонному плацу вели от полкового врача рядового Гаврикова, взятого под стражу еще утром поручиком Шариным. Врач установил, что он безболезненно может принять двадцать пять ударов розог.

■

У Чаева надоедливо болел затылок. Очевидно, вчера при падении он расшиб голову. Фуражка больно давила на ушибленное место.

Было желание снять фуражку, но на плацу уже начиналось.

— Ба...а...тальон! Смирр...но!..

Тонко, но со старанием крикнул командовавший батальоном поручик Шарин, когда к выстроенным в карэ ротам медленно стал приближаться подполковник Хрящ.

Чаева продолжала терзать жестокая головная боль. Все происходившее вокруг только смутно отзывалось в его сознании. Он видел ясно лишь стоявшего понуро Гаврикова и нелепую скамейку посередине карэ с лежавшими на ней свежесрезанными березовыми прутьями.

Гавриков стоял, словно был без костей. Казалось, что его большое тело сейчас обсыплется и будет торчать на батальонном плацу серой горкой.

Внезапно в ушах засверлила резкая барабанная дробь.

Чаев отвел глаза от Гаврикова.

Он понял, что вчерашнее смещение сознания начинается снова. Развернутые роты, жестоко обступившие несчастного Гаврикова, отвратительно напоминали огромные вешалки, раздевалки. Адъютант, читавший параграф приказа, до нелепости походил на служителя Краснова. Циферблатные усы подполковника Хряща опять сорвались с положенного места и разбежались к ушам, где распушились в пышные бакенбарды.

— Желающие... два шага — вперед!.. Шагом арш!..

Чаев вздрогнул.

Этот выкрик поручика Шарина, после зачитки адъютантом параграфа приказа и каких-то объяснительных слов, заставил его насторожиться, как перед грозящей смертельной опасностью.

Поединок, начавшийся вчера в пролетке между ним и Шариным, продолжался здесь на плацу.

— Желающие... два шага — вперед! Ша-а-гом! Арш-ш!

Приняли команду ротные командиры.

Чаев последним выкрикнул в лицо своей, застывшей в жутком напряжении, роты:

— Желающие... два шага — вперед! Ша-а-гом! Арш-ш!

И он замер, словно резко потревоженная струна.

Над батальонным карэ, как предгрозовое удушье, повисло мертвое молчание.

Чаев не смотрел в глаза солдатам своей роты. Он в упор

расстреливал диким взглядом унтер-офицера Штрихова, но Штрихов стоял смирно и тупо шарил глазами перед собой.

Через несколько секунд Чаев облегченно вздохнул.

Желающих во всем батальоне, даже в третьей роте не оказалось! Чаева поразила неожиданная мысль: это память о выстреле Пластунова пригвоздила весь батальон в неподвижности к плацу.

И радостной мелодией в сознании Чаева зазвенели слова: «не оказалось!» Нет, не мелодия, а оглушительная пощечина поручику Шарину.

— Ротные командиры — ко мне-е!

Это взорвал предгрозовое удушье и смял Чаевскую радостную мелодию басовый гром разъяренного подполковника Хряща.

Чаев машинально повернулся, чтобы итти на команду.

Но, казалось, бешеный смерч взвился в середине карэ и отбрасывал Чаева назад.

Бескостное тело Гаврикова, до предела измученное наглоторжественным издевательством, обрушилось.

Оно отчаянно кричало и в конвульсивных корчах билось припадочно у нелепой скамейки.

Чаеву теперь уже не чудилось, а он так же болезненно, как ночью в палатке при неожиданной встрече с Гавриковым, почувствовал ничем не стираемое тождество стриженого солдатского затылка, бившегося сейчас на пыльной земле батальонного плаца, и мальчишеского затылка, колотившегося в руках двоюника Антипа в школьной раздевальне.

Он с ужасом понял, что если этот припадочный кошмар там, на земле, около скамейки, сейчас не будет прикончен, он сам изойдет безумным, протяжным собачьим криком.

Но от этого крика его спасло воспоминание о поединке в пролетке с Шариным и о стройной архитектуре мыслей, обозначившейся при чтении «письма русского воина». Однако, архитектура парадно нависала в воздухе. Кощунственно нависала ничем не поддержанная, а поединок длился на плацу пока безрезультатно, в то время, когда тело его вместе с телом Гаврикова, казалось, корчится от унизительнейшего издевательства. И, как пламя, его лизнула невыносимая ярость: он словно вторично принял удар Шаринской ослепительной и опасной «примы» — «дальше «поцелуев» не доходит».

Он резко и решительно повернул кругом — обратно к роте, сразу ощутив тяжелое, уже знакомое ему спокойствие.

С таким тяжелым спокойствием, без всякой жалости, без

малейшей жестокости он схватил руку ненавистного инспектора в затхлом склепе Мишеля Фрей. С таким, очевидно, спокойствием перед всем батальоном выстрелил в капитана Решетникова солдат двенадцатой роты Пластунов.

И тут случилось то, что показалось небывало диким и непонятным подполковнику, адъютанту, поручику Шарину, всем офицерам батальона.

Чаев, встав перед ротой четко по уставу (каблуки вместе, носки врозь, руки по швам), громко и спокойно скомандовал:

— Смирр...но!

— На лее...во!

— На плеч-чо!

— Ряды... вздвой!

— Ша...а...гом!.. арш-ш!

Рота послушно вытянулась в походную колонну, сломав карэ, жестоко обступившее рядового Гаврикова.

— Подпоручик Чаев!.. Вы с... с. . ума спятили... Назад... Остановите роту!.. Бардак!..

Циферблатные усы на налившемся кровью от крика, злобы и удивления лице подполковника, казалось, забегают сейчас бешено кругом возмущенного циферблата.

Уже услужливо бежал к Чаеву адъютант, как ошалелый верблюд выбрасывая свои длинные ноги.

Ему вдогонку покатился обгоняющий, сердитый громовой раскат:

— Подпоручик!.. Ко-мне...е!

Чаев на мгновение сбился с ноги. Как от прикосновения льда стянуло холодом кожу на затылке. Ему почудилось — в спину сейчас должен ударить обжигающий выстрел. Он резко обернулся: совершенно растерянная группа офицеров заслонила низкорослого Хряща. Адъютант бежал, уродливо загребая воздух порожними руками. И, оправившись, Чаев властно выстрелил команду:

— Пра-а вое плечо вперед!.. Арш...ш!

Рота опять послушно зашла правым плечом.

Верблюдный бег услужливого адъютанта уже достигал своего апогея, в непосредственной близости Чаева, но воздух хлеснуло короткое, направляющее «прямо», и рота неумолимо пошла к лагерю.

С последним запасом сил Чаев выкрикнул нестройно, но торжествующе:

— Прапорщик Бирилев, ведите роту в лагерь!

И только тогда он остановился.

Перед ним вырос, по верблюжьи сопевший, адъютант.

— Подпоручик Чаев, вас требует подполковник Хрящ.

Чаев приложил руку к головному убору.

— Слушаюсь!

Он спокойно направился к подполковнику. За ним, как на ходулях, шагал разгоряченный верблюжьим бегом адъютант.

— По вашему приказанию прибыл, господин полковник!

— Бардак!.. Кто разрешил вам отвести роту, я вас спрашиваю?! Вы арестованы!.. Под суд!..

У маленького, но басистого подполковника истощились силы и слова. Он напоминал игрока, проигравшего последнюю крупную ставку.

Чаев заметил, что все еще содрогавшееся тело Гаврикова уносили в полковой околоток на носилках санитары третьей роты, вслед уходившей первой ротой.

Подполковник задыхался. Он возмущенно вытирал большим платком вспотевшее лицо и забрызганные слюной рот и усы.

— Ротные командиры!.. По местам!.. Отвести роты в палатки!..

И раздались те же команды, которые за несколько минут самовольно выкрикивал подпоручик Чаев.

Карэ окончательно сломалось.

Остались только подполковник, поручик Шарин, адъютант и Чаев, и все еще стояла забытая, нелепая скамейка с неиспользованными, свежесрезанными березовыми прутьями.

— Подпоручик — ваше оружие!

Чаеву было легко. Даже радостно.

Он теперь ясно видел, что стройная архитектура мыслей, выкристализовавшаяся в минувшую тяжелую ночь, парадно, но опасно повисавшая до увода им своей роты с батальонного плаца в воздухе, получила один реально осязаемый устой, а поединок закончен в его пользу.

Он вежливо, выдержанно, без малейшей торопливости отстегнул кобуру с наганом, потом такими же четкими приемами отделил от портупеи шашку и передал все адъютанту.

Затем, сделав легкий поворот в сторону иронически улыбавшегося поручика Шарина, нарочито любезно сказал:

— Вы, господин поручик, не ошиблись: система мне действительно мешала!

Шарин погасил улыбку и от неожиданности прикусил губу, а подполковник, не расслышав слова Чаева, но заметив, что он обратился к Шарину, сердито пробасил:

— Прошу не разговаривать с младшим, в присутствии старшего.

Когда Чаев освобождал от ремней шашку, ему в глаза бросилось вещественное выражение награды за то, что он дал себя на фронте контузить. На шашке болтался темляк — аннинская темнокрасная с оранжевыми полосками по бокам лента, пропущенная через темлячное ушко эфеса, и с кисточкой такого же цвета. На стержне эфеса, под царскими инициалами алела в золотом ободке эмалевая звездочка ордена Св. Анны 4-й степени. Все это, вместе взятое, на обычном жаргоне прапорщиков называлось «клюквой».

«Медаль за усердие» — подумал Чаев, передавая шашку со всем этим прибором священнодействовавшему адъютанту. Он вспомнил швейцара Ивана с его медалью и горько улыбнулся какой-то неприятной ассоциации.

И, когда он в сопровождении все того же адъютанта шел через опустелый плац на лагерную гауптвахту, он решил, что все предстоящее на обещанном подполковником судилище будет его, подпоручика Чаева, последний разведывательный поиск.

За этой гранью начнется решительный бой с выявленным противником.

Потерянный ориентир

У ПОРУЧИКА СИАСА болело сердце... Не то сердце, которое обычно подразумевают, когда говорят: «болит сердце», а настоящее, из мускулов. Такое у Сиаса было ощущение, словно двигалась на него чудовищная лавина, и от страха спирало дыхание, и болело сердце. Может быть, это — последствия контузии, а может быть, это от спирта, выпитого вчера за обедом у временно командующего полком подполковника Кочана? Это неизменное предчувствие чего-то неизвестного, которое вот-вот налетит и в сумасшедшем смерче скрутит жгутом его, поручика с погонами, аксельбантами, сапогами, шпорами, — это предчувствие казалось предчувствием особого порядка. Он решительно приписал его всему новому, что упорно и буйно вырастало вокруг него, поручика Сиаса.

Уже третий месяц офицеры говорят солдатам «вы», приказы заменены уговорами, а солдатский массив под шинельным сукном почти беспрерывно потрясается митинговой лихорадкой. Офицеры, которые до сих пор представлялись Сиасу одной ровной шеренгой, скрепленной одним сплошным защитным погоном, усеянным воронёными звездочками, эти офицеры раскиданы во все стооны, как от внезапно разорвавшейся гранаты.

У поручика Сиаса был ориентир. Он воевал «за веру, царя и отечество». Из этой трехчленной формулы «вера» для Сиаса выпала еще в дни юношества. «Царя» выбила революция в «далеком», давно невиданном Петербурге. Оставалось это магическое «отечество». Оно замечательно просто ориентировало поручика Сиаса во всей сложности окружавшего его мира. Оно так удобно делило в этой кошмарной войне все человечество на два лагеря: друзей и врагов. Отечество осмысливало существование самого поручика Сиаса и все его бесчисленные поступки.

И вот все то новое, что видел вокруг себя поручик Сиас, постепенно, но решительно выбивало этот магический ориентир из его рук. Поручика засасывала неизвестность. Неизвестность заменила отечество. Она угнетала его до физического недомогания. Она делала тревожным его сон. Она наполняла кошма-

рами ночь, когда он, истерзанный, пригвождался усталостью к шаткой походной кровати.

Утром к штабу полка прихлынула целая рота солдат. Это было уже не первое их появление. Они требовали выдачи свидетельств об отпуске по болезни. В полку до шестисот человек было признано врачебной комиссией к увольнению в отпуск. Цынга, беззубая цынга рыхлыми красными деснами обглодала эти шестьсот человек во время трехмесячной бессменной стоянки в стоходских болотах. Солдаты требовали — командиры отказывали. Отказывать приказал Керенский.

. . . . . .

Подполковник Кочан был тучен и огромен. Он не любил двигаться и еще больше не любил волноваться: все должно итти гладко. Он послал поручика Сиаса — адъютанта — для переговоров.

Сиас пристегнул шашку, навьючил револьвер, фуражку натянул так, что козырек врезался в переносицу и, рассыпая надоедливое бряканье заржавленных шпор, вышел к солдатам.

Перед ним было трое — один ефрейтор и двое рядовых. Рота с неравным частоколом штыков виднелась в отдалении...

— Что угодно?

— Так что, господин поручик, дело надо поставить вертикально.

Этот низкорослый, кряжистый ефрейтор Шпалин, с быстро бегающими умными глазами, был любителем иностранных слов. Это все, что знал о нем поручик Сиас. От ефрейторского «вертикально» поручику стало весело. Налет важности был смыт этим «вертикально», как ловко пущенной струей холодной воды.

— Какое дело поставить вертикально?

И неуемный живчик веселья кривит лицо поручика Сиаса в непрошенную и неожиданную улыбку.

— Нечего, господин поручик, смехуньчики разные тут разводить! Не для смехуньчиков до вас притащились. Так что постановили мы намедни — либо нам свидетельства, либо вам арешт. А потому ни вам ни нам — никому никакого смеху, а всамделешный комуфляж.

Неймется поручикову живчику. Поручик чувствовал — от сдерживаемого смеха лицо становится все глупее, круги улыбки расходятся все шире и шире, точно блинчики на поверхности воды от ловко брошенного ребром камня...

Но вдруг он замер и инстинктивно вытянулся, приложив руку к козырьку: четкая, уверенная команда неожиданно ударила его по уху.

— Ст...а ... а... но... о-вись!

И рота, стоявшая в отдалении, дрогнула, как лес под напором порыва внезапного ветра, и замерла.

— Р... а... ав-няйсь!.. Смир... р... но!.. На ру... у... ку!.. Равнение направо... На поручика... ша... а... гом... аршш!.. ать!.. два!.. ать!.. два!..

Рота развернутым строем с винтовками на перевес прямо шла на поручика Сиаса.

Поручик взглянул на ефрейтора Шпалина. И его поразило спокойствие и уверенность Шпалина. Ему показалось, что ефрейтор вырос вдвое, а он стал маленьким, прибитым к земле.

И странно: не страх перед надвигавшейся на него ощетинившейся ротой охватил поручика, а удивление и... уважение перед ефрейтором.

— Ро... о... та!.. Стой!.. К н... о... о...-гиб!.. Господин поручик, шуруйте.

■

В военной школе, огромном инкубаторе ускоренного оперения прапорщиков, юнкера Сиаса прозвали «институткой». По наружному виду он вовсе не был похож на институтку. Но у юнкера Сиаса была странная привычка возить с собою всюду дневник, старые письма и тонкую тетрадь собственных стихов. Когда ему становилось скучно, он перечитывал свой дневник, старые письма и стихи.

Так было и сегодня. Он вытащил из походного сундучка связку бумаг и начал ее разбирать. Его заинтересовал старый измятый конверт со штемпелем из прибалтийского города Дерпта. Он вынул содержимое и сразу узнал свой собственный неряшливый почерк:

Дорогой Феликс!

Ты непроницаемая сволочь! Я вижу, как при этом слове лицо твое под бескозырной цветной шапчонкой «Фратернита» вытягивается в брезгливую гримасу. Еще бы! Благородный «фукс», настоянный на крепком дерптском пиве, может на это ответить только ударом рапиры! Но я повторяю: непроницаемая сволочь. И хорошо бы тебе это слово пропечатать на твоем матрикуле или на паспорте. А, собственно говоря, догадываешься ты, почему я так ругаюсь? Наверное нет. У меня триппер или, как вы это называете на вашем медицинском языке. Оттого я так ругаюсь. Я, конечно, раньше чем ругаться, проделал много других историй, более серьезных, чем это невинное ругательство. Но теперь это все позади. Дело доходило до таких актов, которые закрепляются соответствующими записками для назидания потомству. Так было и у меня. Но сейчас у меня — радость приговоренного к повешению, но ушедшего из-под петли. А потому я не могу воздержаться, чтобы не привести полностью

эту мою «предсмертную» записку. Она представлялась мне тогда, когда мне предстояло лезть в петлю, трагической, а теперь для меня она в такой же степени смешна. Она, эта записка лежит предо мной: «Прощайте... Жизнь оставляю живущим... Все чистое, светлое, что было во мне — живущим, а грязное — туда, к смерти. Пусть тлеет, пусть разлагается и унаваживает землю для сильных». Что? Здорово? Сама Вербицкая позавидовала бы такой записке. Но все я вру, вовсе мне не весело. Наоборот, я зол. И вовсе не для того, чтобы рассмешить привел тебе полностью записку в честь моей несостоявшейся смерти. Ты, конечно, сам догадываешься и легко установишь связь между моим ругательством «сволочь» и фразой из записки: «унаваживать землю для сильных». Это, Феликс, ведь твоя фраза. Ты, конечно, не забудешь тот вечер, два года тому назад, когда я пришел к тебе весь поджаренный стыдом и рассказал тебе о гнусном предложении учителя русской словесности и о том, что я его перед всем классом обозвал скотом? И ты мне тогда сказал: Андреас, брось, извинись перед словесником, а то тебя выставят из училища и ты огорчишь только отца, который тратит на наше учение последние гроши. Что ты будешь делать — мы люди маленькие, в жизни властвуют сильные, а мы что? Наше предназначение — только унаваживать землю для сильных. И что же? Я извинился. Я унаваживал землю для сильных. А сильные меня развратили. И, когда я пришел к ним и чистосердечно сознался, что я болен этой ужасной болезнью, меня в двадцать четыре часа исключили из училища. А сын барона Таубе, у которого отец, мать и брат сифилитики, а он сам круглый идиот, продолжает сидеть за партою. Я выругал тебя сволочью, но вот видишь — я уже расчувствовался. Совершенно я тебя напрасно обругал. Но я тебе хотел сказать, что больше я унаваживать землю не желаю. И ты должен мне, как старший брат в этом помочь. Как ты думаешь — если я приеду в Дерпт? Уж очень я одинок и не знаю, что делать. С папой я не разговариваю — он от меня отказался. А с мамой... Да, что впрочем... мама, эта вечно опечаленная мама, тебе кланяется.

Пиши. Я буду ждать.

Твой Андреас.

P. S. Очень извиняюсь, что письмо вышло таким длинным, но должен тебе сказать...

Дальше поручику не захотелось читать свое собственное письмо к родному брату. Его заинтересовало ответное письмо последнего:

Дерпт 17 октября 1911 г.

Мой любимый брат!

Я совершенно солидарен с отцом. Больше я ничего сказать тебе не могу. Исправься. О семье барона Таубе ты так отзываться не имеешь никакого права — слишком молод и еще слишком глуп. А до твоих девчонок, толкающих тебя в разврат, мне нет никакого дела.

Любящий тебя твой брат Феликс.

P. S Твое письмо, как неприличное, возвращаю.

Ф.

Поручик, иронически улыбнувшись, отложил письма и взялся за дневник:

В нашем многочисленном семействе, я отличался тем, что был самым маленьким и очень любил кухню. На кухне было всегда тепло, и по белым известковым стенам и по черной плите деловито сновали такие забавные, усатые тараканы. Тараканов я любил ловить, класть их на спину и наблюдать, как они отчаянно барахтаются, стараясь снова встать на свои быстрые ноги. Белые известковые стены нравились мне тем, что в них были царапины, ссадины, ямки. Из этих ссадин, царапинок и ямок я мог довольно легко ногтем выскабливать известку и поедать ее в неограниченном количестве. Известка для меня казалась самой вкусной едой. Но этого совершенно не хотели понимать старшие. Они меня больно били по рукам, шлепали крепко по заду и мазали противной горчицей разрыхленные мною ссадины, царапины и ямки на известковых стенах.

Таким я был до пяти лет.

Кажется, из этого кусочка жизни я не могу больше вспомнить ни одной частицы. Разве только то, что однажды я увидел, как мама наказывала черными розгами белокурую сестренку Луизу. Луиза была здоровая, полная девчонка, и маме никак нельзя было с ней сладить. Меня это очень заинтересовало, даже больше, чем тараканы и известка. Я видел подобное первый раз. Мне было весело смотреть на ревущую Луизу, и я очень жалел сердитую, захлебывающуюся маму. Я незаметно подкрался к матери, очень ловко быстро вырвал из ее рук розги и, что было силы, стал бить Луизу. Но сейчас же я был подхвачен матерью. Я почувствовал, как эти самые черные розги невероятной болью обжигают мое обнаженное тело. Я кричал отчаянно. И когда все кончилось, пополз под старый, кривоногий диван, где сразу успокоился, натолкнувшись на собачонку Фипс, которая была напугана не менее, чем я. Фипс лизал у меня невысохшие слезы, и, окончательно успокоившись, я почувствовал дикую злобу ко всему, что было не под диваном. Когда подходили старшие и пытались меня извлечь из-под дивана, Фипс отчаянно рычал и делал вид, что хватает зубами протягивающиеся руки. Я старался рычать так же, как Фипс, но уже на самом деле кусал ловившие меня руки. Нас в конце концов оставили в покое. Когда стало темнеть, Фипс вылез. Вылез за Фипсом и я. Скоро должен был прийти с фабрики отец. А отца мы с Фипсом очень боялись, но никакой страх не мог заглушить ту дикую и сладострастную злобу, которую я почувствовал там под диваном.

Дальше вся жизнь мне кажется яснее. Было нас в семействе очень много. Я еще не умел тогда точно подсчитывать, но старшая сестра Анна говорила, что нас одиннадцать человек. Самым замечательным я считал отца. Был он каким-то таинственным. И самое интересное в нем для меня было то, что на правой руке у него было четыре пальца. Вместо среднего торчал маленький обрубочек, очень походивший на мамин большой наперсток. Говорил отец очень редко. Очень часто ссорился с матерью. Каждый день к двенадцати часам накрывался стол. У прибора отца ставилась большая бутылка с водкой и небольшая граненая рюмка. Когда начинал басить фабричный гудок, на стол ставилось блюдо с нарезанными кусками маринованной селедки. Скоро раздавался звонок. Это являлся отец. он умывался у раковины в кухне. Потом шел к столу. Когда все были

в сборе, кто-нибудь из старших читал всегда одну и ту же короткую, надоевшую мне до страха молитву. Отец наливал из бутылки одну рюмку. Затем выпивал ее и закусывал маринованной селедкой. Он всегда выпивал только одну рюмку.

Бедный отец, я не знал, кто тебя научил этой премудрости с рюмкой, но ты не мог подозревать, что загадочная игра с рюмкой притягивала внимание твоего шестилетнего сына. И разве ты мог догадаться, что до прихода твоего небольшая частица твоей жгучей воды проглатывалась из маленькой граненой рюмки твоим сыном? И кто знает, не эта ли рюмка была началом хождения твоего сына Андреаса по кривым тропкам, смоченным алкоголем.

Поручик Сиас резко захлопнул измятую ученическую тетрадь. Ему внезапно захотелось выпить. Он пошарил в походном сундуке, выловил небольшую бутылку коньяку и прямо из горла сделал два больших глотка.

Поморщившись и обтерев рукавом гимнастерки мокрые губы, он снова взялся за тетрадь. Перелистав несколько страниц, Сиас продолжал чтение:

Я сегодня пришел к окончательному выводу, и вывод этот крайне прост и жесток. Я сказал себе: жизнь — это путаница. Это, конечно, долгая история, почему я в семнадцать лет решил, что жизнь путаница... Я сижу в своей маленькой комнате на шестом этаже третьего колодца кирпичной громадины. Курю папиросу за папиросой и думаю: на самом деле, вся жизнь — путаница с начала до конца. Беру начало. Вот отец. Он для чего-то, когда-то оставил Прибалтику, молодым человеком приехал в Петербург. За счастьем, как говорит мать. Он эстонец и, верно для того, чтобы усилить путаницу, женился на шведке, когда-то тоже оставившей ладно скроенную Швецию, чтобы очутиться в путанной России в поисках путанного счастья. И родословная матери, дочери трудолюбивого портного, причудливо сплеталась с родословной бывшего свинопаса, затем деревенского столяра и далее рабочего рояльной фабрики. И оба этих смешных человека говорили на разных языках, внося в свою путанную жизнь еще большую путаницу. И, чтобы внести еще большую путаницу, отец произвел на свет одиннадцать детей. Сделав это, он, видимо, запутался окончательно. Но бедному отцу пришли на помощь нужда и смерть. Они постепенно стали уменьшать число детей. Все же несчастному человеку легче разбираться в семи, чем в одиннадцати. Но разобраться в семи все же выпало на его долю. И для того, очевидно, чтобы облегчить себе задачу, он прибегнул к упрощенному способу. Имея всегда перед глазами свое тяжелое прошлое и настоящее, он для каждого ребенка наметил будущее. И должны были из нашего путанного семейства выйти в жизнь: музыкантша, пастор, доктор, офицер и просто две порядочные жены. Но по его же вине жизнь перепутала все карты. Совершенно осталось мне непонятным, почему отец, потерявший на фабрике один палец и продолжавший за ту же цену с девятью пальцами и одним обрубком собирать сложные механизмы роялей и пианино, — почему он родословную детей своих захотел так резко изменить и провести вверх по восходящей привилегированного общества. Жизнь над ним жестоко посмеялась. Дети не имели особого

желания оправдать ярлыки, привязанные к ним отцом, а у отца не хватило для этого денег. И кроме того, мать высказала вполне определенное отношение к затеям отца и выразила его, может быть, в старой, но жизненной пословице: «Бедным нечего хлеб отбивать у богатых». И вот я на восемнадцатом году не на пути к тому, чтобы быть офицером, а просто венерик, за что и выгнан из дома отцом, так как он больше почитает бога и хорошее мнение людей, чем любит своих детей...

Поручик усталым движением руки забросил всю пачку бумаг обратно в походный сундук.

Он лег на спину, с силой вжав голову в соломенную подушку. Он думал об одном. Странно: он не думал, собственно, о том, что только-что прочел. Он думал о революции. И перед ним были не близкие, знакомые лица отца, матери, братьев и сестер. Перед ним, как живой, стоял совершенно чуждый ему ефрейтор Шпалин. Ему казалось, что он слышит его голос, его четкую команду, как тогда у крыльца штаба. Он, как на яву, видел ощетинившуюся роту, грозной шеренгой с ровной линией штыков надвигающуюся на него.

У него было такое ощущение, будто прожил он большую жизнь и ничего не понимал в этой жизни и только сейчас сделал решающее открытие:

«Мы люди маленькие, в жизни властвуют сильные, а наше предназначение — только унаваживать землю для сильных».

Да, он противился... Он не желал унаваживать... и унаживал. И как унаваживал!.. Целыми ротами ради сильных водил маленьких людей под усовершенствованную косилку смерти. Целыми ротами заставлял маленьких людей расчетливо и метко стрелять в таких же маленьких людей. Холодно, с чисто приказчичьим рвением клал этих людей на холодную, широкую грудь земли искалеченными или мертвыми. И это называлось «не желал унаваживать»!.. А ведь он добровольно пошел в этот б....., называемый великой отечественной войной, — он, который не хотел унаваживать»!..

Поручик Сиас одним взмахом приподнялся с постели и так резко встал на ноги, что шпоры заскрипели, как ржавые петли.

Он стал бегать взад и вперед, подгоняемый своими мыслями, по маленькой комнате штабной халупы...

За стеной подполковник Кочан завел граммофон. Пластинка была немецкая и несносно картавила:

Puppchen, du b'st mein Augenstern,
Puppchen, hab dich zum Fressen gern...

Правда, еще ничего особенно не изменилось. Революция про-

шлась пока только по верхушкам. Но маленькие люди, от которых, как казалось поручику Сиасу, война отдалила его на большую дистанцию, — эти маленькие люди проявляют решительное намерение унаваживать землю для себя сильными.

— Ефрейтор Шпалин!.. Ефрейтор Шпалин!.. — бесчисленное множество раз повторял Сиас...

За изошедшую слезами мать, за отуманенного в доску девятипалого отца, за розги в детстве, за развращение и за отравление алкоголем он, поручик Сиас, отплатил сильным тем, что с приказчичьим рвением унаваживал для них «во имя царя, бога и отечества» землю тысячами маленьких людей...

Ему стало холодно, гадливо, и нудная тоска тяжелой пылью оседала на нездоровое сердце.

Ефрейтор Шпалин.. Вот как надо было отплачивать сильным:

— На руку!.. Равнение направо... На поручика!.. Ша-агом ар-рш-ш!!.

Это действительно называется дело поставить вертикально.

И поручику Сиасу уже не становилось смешно от этого слова. Он завидовал ефрейторской силе и решительности.

■

Председатель полкового комитета, вольноопределяющийся Цынкович, был явно смущен. Его вообще удивило посещение поручиком Сиасом полкового комитета. Вопрос поручика не понравился ему своей прямолинейностью.

— Так как же, вольноопределяющийся Цынкович? Мне кажется, именно вы должны защищать интересы солдат. Раз солдат хочет домой — значит вы должны добиваться, чтобы его отпустили. Вы как думаете?

— Видите ли, господин поручик... Вы, вы, что называется, рубите с плеча. Да, именно с плеча. А в революции, господин поручик, рубить с плеча не приходится. Да, не приходится. По этому вопросу действительно нет определенной ясности, т. е. ясность есть, но рубить, так сказать, с плеча отнюдь не приходится. Я, видите ли, могу высказать по этому поводу свое мнение, то есть, вернее, мнение Всероссийского крестьянского съезда, на котором мне выпала почетная обязанность присутствовать. Так съезд, видите ли, считал, что необходимо, так сказать, абсолютное, действительно абсолютное единение с союзниками, и сепаратное заключение мира недопустимо. А из этого, видите ли, вытекает, так сказать, само собой, что мы — представители воли народа, в частности, так сказать, члены полкового комитета, обязаны всячески, действительно всячески пре-

пятствовать самочинному уходу солдатских масс с фронта. Этого, так сказать, требуют интересы революции.

Поручик Сиас имел очень слабое представление о Крестьянском съезде и вовсе не знал, действительно ли Съезд говорил то, что изложил ему так путанно Цынкович. На момент Сиасу показалось, что Цынкович прав. Он почувствовал даже необъяснимую симпатию к председателю комитета. Ведь он как будто вручал ему в руки потерянный им, Сиасом, ориентир: вместо отечества — свободная Россия и интересы революции. Но, как неодолимое противоречие, перед Сиасом всплыл образ ефрейтора Шпалина и рота с винтовками наперевес у крыльца штаба. Образ ефрейтора Шпалина и штыки деятой роты отбрасывали поручика назад, к строчкам старых писем и дневника. Он странным взглядом в упор уставился в глаза председателя полкового комитета.

Цынковичу стало неловко... Он был еще под впечатлением своей, как ему самому казалось, очень умной и тонкой речи. И этот странный взгляд поручика раздражал его. Он заерзал на стуле и нервно расстегнул пуговицу на воротнике гимнастерки. Он решил, что между ним и поручиком осталась какая-то недоговоренность.

— Да, господин поручик, позвольте мне от лица полкового комитета выразить вам благодарность за сообщение о поведении ефрейтора Шпалина. Только вы напрасно восхищаетесь его решительностью. Ефрейтор Шпалин, видите ли, большой путаник; он, так сказать, анархист. Своим необдуманным поведением он вообще подрывает, видите ли, авторитет не только части офицерства, искренно преданной революции, но и представителей воли народа, в частности, так сказать, членов полкового комитета. Я поставлю вопрос о девятой роте и ефрейторе Шпалине на комитете и думаю, что нам, так сказать, удастся вернуть девятую роту к сознанию революционной дисциплины.

Поручик Сиас продолжал упорно фиксировать глаза председателя комитета. Толстая папироса в его руке несносно чадила, как головешка.

— Вы имеете еще вопросы, господин поручик?

Сиас ничего не слышал. Он не слышал то, что говорил Цынкович об офицерстве, преданном революции, о девятой роте и ефрейторе Шпалине. Он не расслышал последнего вопроса Цынковича.

Он совершенно отчетливо уяснил себе, что ощущение ориентира было обманчиво. Ориентира не оказалось. Поручик смо-

трел на Цынковича, и в нём медленно нарастало чувство настороженной враждебности: Цынкович напоминал ему брата Феликса.

И внезапно Сиас загрохотал неприятным, неестественным смехом:

— Унаваживать землю для сильных!.. Ха... ха... Это значит — дело поставить вертикально!.. ха... ха...

Председатель полкового комитета вскинул удивленные глаза на поручика. Этот фальшивый смех и бессмысленная фраза до того ошеломили его, что в глазах стало рябить. Ему почудилось, что поручик постепенно заволакивается серым дымком...

Когда он оправился, поручика в комнате уже не было. Цынкович нервно потер лоб и решил, что поручик Сиас спятил с ума.

— Так сказать, ход истории сдвинул, — проговорил он, сшибая ловким щелчком оставленный поручиком на краю стола окурок.

■

В большой голове подполковника Кочана, временно командующего Туркестанским стрелковым полком, стоял несносный шум. Это раздражало подполковника. Он невнимательно слушал своего адъютанта, поручика Сиаса. Вообще этот Сиас казался ему ненормальным: шляется в полковой комитет, заносчиво держит себя с офицерами... Как только он попал в адъютанты? Подполковник Кочан забыл лишь одну маленькую особенность: раньше поручик Сиас не представлялся ему таким — это было впечатление последних недель.

— Всё либеральные замашечки Петра Васильевича! — вспомнил подполковник Кочан командира полка. — Ориентировочка на прапорство. Кадрового надо бы... Сменить его, черта нескладного, что ли?

Но последняя мысль была хлопотливая, а потому сразу же заглохла в несносном шуме большой головы временно командующего полком. Подполковник предпочел обождать приезда из командировки командира полка и сказать ему свои соображения.

«Вообще времечко!.. Не офицеры пошли, а чорт знает что...» — еще поволновался мысленно подполковник, но решил не поддаваться раздражительности, хотя сегодня каждый пустяк действовал на него как назойливая муха.

— Продолжайте, поручик!..

— Разрешите доложить, господин полковник, по вопросу

девятой роты. Я считаю как я неоднократно уже вам докладывал, что людей надо уволить.

Подполковник Кочан сердито крякнул:

— Опять вы, поручик, с глупостями? Уволить, уволить! А кто воевать будет? Мы с вами, что ли? Не понимаю: человек с образованием — и такую чушь городите!

Сиас почувствовал себя оскорбленным. Вообще эти дни с ним происходило нечто очень странное: большинство офицеров, с которыми он сталкивался и в которых он раньше не находил ничего неприятного, теперь производили на него отталкивающее впечатление.

Подполковник Кочан, — эта толстая туша, вправленная в защитное обмундирование, — казался ему всегда незлым, хотя и очень вспыльчивым человеком.

Сегодня подполковник удивительно напоминал ему классного инспектора того училища, в котором Сиас обучался еще до войны.

И странно: поручику сейчас вспомнились случаи с подполковником Кочаном, мимо которых он раньше проходил с чувством легкой брезгливости, но которые теперь казались ему отвратительными.

. . . . . .

Перед подполковником Кочаном бессмысленно, с невероятной быстротой, подпрыгивает в «беге на месте» солдат Орлов.

Тучный, согнутый в пояснице подполковник, задыхаясь от злобы и обливаясь потом, машет, как факир, под прыгающими ногами Орлова обнаженной георгиевской шашкой. У Орлова из пыльного грубого солдатского сапога левой ноги выползает грязная, окровавленная портянка, и Орлов падает на песок; подполковник-факир подсек ему ногу за неправильный «бег на месте». Это было в запасном полку в Казанском округе. Солдат на смотру подвел командира батальона подполковника Кочана: своими крестьянскими, ревматическими ногами, не сумевшими «бегать на месте», он навлек на подполковника немилость командующего округом генерала Сандецкого на инспекторском смотру.

. . . . . .

Перед герр Кропфом, классным инспектором привилегированного немецкого училища, в директорском кабинете от невыносимой боли корчится мальчик Сиас. Собственно говоря, в училище при евангелической церкви св. Елизаветы не полагается бить детей. Но ведь мальчик Сиас — плебей. Да к тому же инспектор его не бьет, а дергает за левое ухо. И, кроме того, инспектор один с глазу на глаз с мальчиком Сиасом. У маль-

чика Сиаса порвана левая мочка и тоненькая, еле заметная струйка крови стекает за белый воротник, так старательно вымытый любящей мальчика Сиаса мамой.

. . . . . .

Поручик Сиас не видел и не слышал подполковника. Он думал о том, почему солдат Орлов и случай с инспектором раньше не приходили ему в голову. Внезапно он очнулся. Окрик подполковника больно ударил его в ухо.

— Поручик, вы обалдели!! Вы слышите? Я говорю вам — уволить нельзя... Это ваш псих... Проснитесь!

— Господин полковник, прошу не кричать!..

Подполковник Кочан вскипел и забрызгал слюной.

— Что-о-о?!. Молчать!.. Молокососс!.. Мальчишка!.. Прапор сопливый!..

Подполковник никак не мог удержаться. Слова выскакивали сами по себе и рвали воздух, как гранаты.

Перед глазами поручика словно кадры в кинофильме вспыхивали то нога солдата Орлова, то ухо мальчика Сиаса.

Он неожиданно вытянулся, взял под козырек, но в тот же момент оторвал руку от козырька и, чувствуя необычайное облегчение, сильно ударил подполковника ладонью и разжатыми пятью пальцами по толстой щеке.

Подполковник покачнулся.

Когда раздался хлесткий, как выстрел из нагана, треск руки по подполковничьей щеке, поручику Сиасу показалось, что он сразу хлеснул по двум щекам: по щеке подполковника и по щеке вынырнувшего из далекого детства инспектора герр Кропфа.

■

Девятую роту лихорадило...

У земляка ефрейтора Шпалина митинговая волна нарастала большим прибоем.

— Как я был в свое время вашим делегатом на Всероссийском крестьянском съезде, я должóн вам разъяснить. Это дело надо поставить вертикально. У нас в комитете так случилось, что белоручки зады отогревают. У них, может, цынга зубы не полопала, так они нас слопать хотят...

— Правильно!..

Большой рыжий солдат первого взвода, Птицын, потрясая в воздухе огромным суковатым кулаком, весело крикнул:

— Довольно, поели нас вши, давай теперя нам хозяйские щи!..

— Меня вот Цынкович арестовать хочет за анархию,

— А ты, Федя, давни его за монархию! — И Птицын бесстыдно ткнул себя пониже живота.

— Да подожди, ты, рыжий, не юли!

Птицын залихватски заломил фуражку и беспечно показал одернувшему его ратнику с черной бородой невероятно толстый язык.

Ратник сердито сплюнул, отвернулся и снова уставился в рот ефрейтору Шпалину.

— Так вот я и говорю — это дело надо поставить вертикально, что называется — «на попа». С офицерьем мы сладим, если что — к ногтю. А вот с Цынковичем — дело посложней. Поставил я вопрос на комитете: давай увольнение, потому мы цынготные и признаны к увольнению, а Цынкович мне и говорит: «вы, товарищ Шпалин, чушь городите, революция от этого страдать может». Пошли мы тогда к командиру в штаб. Он нам адъютанта. Сам-то, видно, струсил. Постращали мы малость поручика, так обещал поговорить. Но только одна волынка вышла. Дотянули вот, а теперь говорят — пожалуйте, в окопы, начинайте снова. А меня-то из комитета за демонстрацию самочинную — по шапке. Да еще арестовать грозятся...

— Ручки отсохнут!..

— Так вот я и говорю: мы на позицию не хотим и не пойдем. У нас теперь — своя позиция.

— Правильно!

— Своих енералов кончать — и то устанешь.

— Ну это, братцы, никуда негодно...

Солдаты, как по команде, оторвали глаза от ефрейтора Шпалина и повернули головы в сторону небольшого, сухого и немолодого уже солдата Предтеченского.

— Ей-богу, братцы, никуда это негодно. Выходит, Шпалин на манер большевика, агента ерманского. Право слово. На тебя ерманец прет, а он тебе зубы заговаривает: не ходи, мол, на позицию. А ерманец-то что, смотреть будет? Он тебя по головке не погладит. Он тебя, миленький, право слово, «под орех» разделает. Будьте упокойнички.

Ратник с черной бородой пробасил:

— Правильно!

Предтеченский обрадованно закивал головой:

— Право слово, тут с понятием надо. Во-первых, с ерманцем покончить, а погодя и за землю хвататься.

Он уже хотел отойти в сторону, но над ним неожиданно вырос рыжий Птицын и схватил его за ворот шинели, поворачивая лицом к себе.

— Это значит как понять? Сперва голову отрубят, а потом землю дадут, — бери, мол, Петька-редька, аршинчика три! . .

— Но, ты, полегче, рыло суконное!

— Мое-то суконное, а твое-то лавочное. Знаем мы, лавчонку в Туле чужой задницей защитить хочешь.

Солдаты рассмеялись. Ратник с черной бородой потух. На него торжествующе смотрел Птицын.

Предтеченский вырвался из рук Птицына. Отряхиваясь, как помятая курица, он направился к землянкам, приговаривая:

— Чего с вами, мужиками серыми, разговаривать!

Солдаты опять уставились на улыбавшегося Шпалина.

— Предтеченскому воевать охота — так пускай себе, мы ему не помеха. Может, ему и есть интерес, а нам интересу нету. Нужно, значит, нам людей своих послать по ротам и. . .

Шпалин не договорил.

С газового поста внезапно донеслись истеричные удары осколком стали об медную гильзу трехдюймового снаряда.

И в этот же момент в насторожившейся солдатской толпе засновал ротный балагур и запевало солдат Петров, прибежавший из штаба полка, где дежурил связным.

— Братцы, ну и потеха! . . Поручик-то эксельбантный, чухонец этот, с подполковником подрался. Из-за нашей роты. . .

— Да ну-у!

— Вот тебе хрест! . . Я лежу это в комнатке рядом на полу. В перегородке-то щелочка. Ну, я и гляжу да подслухиваю. Поручик-то козлом уперси: отпущай их до дому, до дому — и никаких. А подполковник как рассерчает, да хлоп по столу: нишкни, паскуда прапорская. Тут-то селезенка поручикова не выдержала. Как размахнется он и, мать моя, как ляпнет подполковника по самой роже! Подполковник — с воза. А загодя как вскочит, да леворвертом на поручика. . .

— Ну и что — прострелил? ! .

— Да, не-ет. . .

— Так что же?

— Потыкал, потыкал и вне себя как прохрипит: пшшел! — Ну а тут и сигнал. Я и прибег за маской.

Роты уже подхватили сигнал тревоги. Надоедливое бряканье скакало со всех сторон. Солдаты, не дослушав Петрова, хлынули к землянкам.

Уже бежали к роте командир — поручик Залуцкий и младший офицер, прапорщик Хрусталев, на бегу натягивая противогазы Куманта-Зелинского.

У полкового газового поста стоял солдат Предтеченский и

бил привязанным на веревке осколком в гильзу снаряда трехдюймового орудия образца 1901 года, сладострастно приговаривая:

— Я вам помитингую, чертям, помитингую!..

■

Поручик Сиас оказался не у дел. Случай с подполковником стоил ему адъютантских аксельбантов. Он был откомандирован в распоряжение начальника хозяйственной части. Капитан Серовский не любил Сиаса. Он вообще не переваривал скороспелых поручиков из прапорщиков. Поэтому он поручику никакого дела не поручал.

Это бездействие, походившее на особую форму домашнего ареста, утнетало Сиаса. Он решил, что подполковник его в полку не оставит и с нетерпением ждал приказа об откомандировании.

Когда подполковник оправился от удара, он сразу вытащил из кармана галифэ весело сверкавший браунинг и направил его в упор в стоявшего перед ним, как бы в оцепенении, поручика Сиаса.

Подполковник Кочан должен был стрелять. Это подсказывало ему все его, подполковника Кочана, прошлое. Это кричало ему все офицерство Российской армии, от главнокомандующего до последнего задрипанного прапорщика, но стрелять подполковнику показалось хлопотно. Новое время, новые люди, а главное «эти комитеты»... Чорт знает, как они взглянули бы на выстрел! Да и к тому же никто не видел, никто не слышал нелепого удара взбесившегося поручика. И, кроме того, от испуга и злобы предательски дрожала подполковничья рука, конвульсивно сжимавшая браунинг. А с поручиком он всегда успеет рассчитаться — при первом наступлении... Да, при первом наступлении... И, распаренный от стыда и бессильной злобы, подполковник бессмысленно тыкал в воздух браунингом и под конец прошипел только одно слово:

— Вон!

Вечером был готов приказ:

> ...Поручика Сиаса за неправильное инструктирование начальника химической службы, повлекшее за собой ложную тревогу, освобождаю от должности адъютанта и откомандировываю в хозяйственную команду в распоряжение капитана Серовского...

Поручику было ясно — каждая строчка этого приказного параграфа пропитана наивной, но липкой ложью. Ложь эта неизменно вызывает ироническую улыбку и фарисейскую приторную жалость у капитана Серовского.

Сиаса удивляло его собственное спокойствие. Ни откоманди-

рование, ни нелепый параграф приказа — не произвели на него ни малейшего впечатления. Этот факт казался ему таким незначительным, что у него ни разу не появилась мысль каким-либо способом реагировать на трусливую защиту подполковника...

Он думал о дезертирстве, о бегстве с фронта...

Не случай с подполковником толкнул его на эту необычайную для него мысль.

Поручик Сиас получил письмо от брата:

Дорогой Андреас!

Ты наверное уже знаешь, что я бежал из германского плена. Этот плен, который я когда-то проклинал, сейчас мне кажется замечательным событием. Я многому научился. Война вообще высушила во мне закваску студента бурша дерптской корпорации «Фратернита». Плен меня спас от многих глупостей. Я вернулся рядовым — вольноопределяющимся Феликсом Сиасом. А это имеет сейчас свое значение. Я твоим трем звездочкам не завидую. Тебе революционная солдатская масса не доверяет. А я пользуюсь доверием. И еще каким доверием! Я — председатель корпусного комитета. И подумай, какая случайность: твоего корпуса, вернее, нашего корпуса! Я не знаю, подумал ли ты всерьез над тем, что произошло в России. Мы теперь культурная европейская республика без уродливого чучела азиатского самодержавия. Мы без стыда можем смотреть в глаза культурной Европе. Теперь действительно и мы, передовая интеллигенция, приобрели настоящее отечество. Нам нужно только суметь удержать завоеванное. Я уверен в этом, порукою служит поддержка наших союзников, передовых стран Европы. Правда, наша солдатская масса еще очень сера и малокультурна. Она не всегда осознает свои интересы и часто идет за разными крикунами, впадающими в крайности. Я слышал, что и у вас в дивизии не совсем благополучно. Есть у солдат такие настроения — покинуть фронт. Ну, да мы сумеем уговорить. Мы должны добить эту зазнавшуюся кайзеровскую Германию. Через неделю приедет главнокомандующий Керенский. Какой гениальный человек! Такими людьми действительно надо дорожить. Ты уж, наверное, знаешь, что вашей дивизии из корпусного резерва предстоит отправиться на позиции. Главнокомандующий наверное посетит и вашу дивизию. Я буду его сопровождать — мы тогда увидимся и наговоримся досыта.

Итак, до скорого свидания,

твой *брат Феликс.*

Сиас много раз вгрызался глазами в строки этого письма. Первое, что стало ему ясно, — это то, что Феликс Сиас его, Андреаса Сиаса, очевидно, не зачисляет в передовую интеллигенцию, нашедшую свое отечество. У Феликса оказался утерянный Андреасом ориентир. Но странно: он не завидовал своему брату. Он не мог объяснить себе охватившее его настроение, но письмо казалось ему направленным всеми своими строками против него — Андреаса Сиаса.

Из письма выглядывал прежний студент корпорант Феликс Сиас, который шесть лет назад писал Андреасу Сиасу: «Исправься». Но в письме была скрыта какая-то еле уловимая отрава. Эта отрава расслабляла Сиаса. Она притупляла его смутное ощущение, что новое, вырастающее вокруг него, расставляет людей по-новому. Вот — группа, где подполковник Кочан, капитан Серовский. И вот группа, где ефрейтор Шпалин, девятая рота. Самое губительное в этом, постепенно углублявшемся ощущения, было то что он не мог себя поставить ни в одну из групп. И вот из письма тянулась еле-заметная соломинка. Но схватиться за нее — это значило для него осудить все, что он переживал и делал за эти недели, и снова унаваживать... Его передернуло, как от внезапного острого припадка зубной боли.

Письмо Феликса Сиаса заставляло его, Андреаса Сиаса, топтаться на месте. Но именно это топтанье на месте казалось ему самым жутким... «Бег на месте», когда на него с яростью надвигаются с одной стороны — офицеры, с другой стороны — солдаты. Можно сойти с дороги и задохнуться в невероятной тоске одиночества или быть растоптанным, если не решиться пойти навстречу одной из наступающих сторон.

■

На всем юго-западном фронте была ночь, и было без перемен. При вспышках бесчисленных ракет кой-где братались, кой-где оборонялись. Перемены происходили в тылу, когда резервным полкам нужно было спускаться в бесконечную, вязкую, сырую и надоевшую солдатам до рвоты окопную щель. Тогда штаб фронта тревожно ловил сводки о переменах: отказы, убийства офицеров, небывалые бои между батальонами одного и того же полка...

В большой землянке для дежурного по полку офицера сидел за столом перед форпостным телефоном поручик Сиас. Для него штаб нашел применение: он дежурил чуть не через сутки. Он не протестовал — это было все же лучше, чем бесконечное безделье и, кроме того, давало великолепную возможность быть наедине.

Но ночь была тревожная...

У Сиаса уже ныло левое ухо от чрезмерного соприкосновения с телефонной трубкой... И вот опять... Он сердито снял трубку. Трудолюбивый форпостный телефон невозмутимо жужжал ему в ухо:

Алло!.. Вологда!.. Алло!.. Кто у телефона? А-а!.. Господин поручик, это вы? Говорит адъютант полка. Временно

командующий полком подполковник Кочан приказал не сменять завтра полковой наряд в обычное время... Алло!.. Вы слушаете?.. Митинг — завтра в одиннадцать часов у штаба полка. Распоряжение по ротам о сборе на митинг вы даете точно в десять часов пятьдесят пять минут... Алло!.. Раньше никому ни слова... Вы понимаете, для чего это важно?.. Алло!.. И еще один момент: солдаты на митинг выходят без оружия... Честь имею кланяться...

Телефон угомонился.

Сиас взглянул на дощатый стол: бессознательно он записал карандашом на доске стола «не сменять», «без оружия». Он обвел кружком записи и встал, решив проверить полковой караул. Когда он вышел из землянки, была ночь, и все было без перемен.

■

Над землянкой полкового караула ефрейтора Шпалина тоже была ночь. Но в землянке был свет. Толстая железнодорожная свечка колыхающимися волнами желтого света выхватывала из темноты скрюченные тела спавшего вповалку полкового караула и сидевшего за одноножным столиком ефрейтора Шпалина. На столике перед Шпалиным лежала газета «Солдатская правда». Газета была уже прочитана, и Шпалин думал о том, что послезавтра полк должен заступить на позицию. Итти никто не хочет. Но не хотеть — это не значит еще не итти. Ведь он войны тоже не хотел, а провоевал три года, даже нашивку завоевал за боевое отличие перед самой февральской революцией...

Из всей своей недолгой жизни бывший смазчик станции Саратов, ныне ефрейтор туркестанского стрелкового полка Шпалин, эти три коротких и одновременно бесконечно долгих года считает самыми ужасными и содержательными. За всю свою жизнь он столько не узнал, сколько за эти три года...

. . . . . .

— Как стоишь, сучий сын?

— ?..

— Как стоишь, сучий сын, спрашиваю?

— ?..

— Ну?.. Разверни носки... Но, но! сопли не распускать!.. Не барышня с любимой мозолью...

— ?..

— Чем до войны промышлял?

— Смазчиком, господин фельдфебель!

— Смазчиком? .. Так я тебе смажу... Будешь знать, мать морковная, как стоять перед господином фельдфебелем...

. . . . . .

Когда в памяти ефрейтора Шпалина вырисовывается этот кусок жизни, он каждый раз вызывает ощущение ожога левого уха и левой щеки от фельдфебельского удара, хотя это и случилось (Шпалин точно помнит) 27 декабря 1915 года на окраине города Санкт-Петербурга, называмой Охтой, во дворе казарм Новочеркасского полка.

. . . . . .

Бить фронтового солдата, контуженного и раненого и после выздоровления попавшего в запасный полк, даже для фельдфебеля Иванова было делом небезопасным. На другой день рано утром фельдфебель проснулся на темной Гарушечной улице жестоко избитым, лишенным одного переднего зуба. Ничего не помнил Иванов — всю ночь был сильно пьян. Заподозрить своих собутыльников никак нельзя было. А рядовой Шпалин стоял спокойно у ворот казарм, выходивших как раз на Гарушечную, и дневалил. Сумел рядовой Шпалин утереть нос фельдфебелю Иванову. Фельдфебель смолчал — с ним сыграли в «темную». К Шпалину близко не подходил, но ежедневно подводил его под винтовку. Два часа ежесуточного бесполезного, невероятного напряжения всех мускулов, всех жил Шпалинского контуженного и простреляннного тела.

Это была медленная, никем не подписанная смертная казнь.

Фельдфебель Иванов был доволен: он отнял у Шпалина даже возможность физической мести. Шпалин ослабел, как изнуренная чесоткой лошадь. После тринадцатидневной пытки решился Шпалин отлучиться, чтобы в одном из трактиров на Охте поесть и за стаканом забористой водки опомниться от ударов сложной мести фельдфебеля.

Только на двадцать четыре коротких часа убежал фронтовой солдат из казармы, сжимавшей его с невероятной яростью в кирпичных тисках , наступавшей на него ежедневно, ежечасно во главе с фельдфебелем Ивановым...

Патруль, проверявший документы, вернул его опять к ней, к фельдфебелю Иванову.

Фельдфебель Иванов ему не обрадовался.

— А-а, смазчик, мать морковная!.. Ну, под богом, сучий сын, ходишь. Был бы старый ротный — понюхал бы дисциплинарку, а то и землицы бы скушал. У... у!.. Сволота, катись к ротному. Новый теперь фронтовой, может, и погладит тебя по задку.

Шпалин отчетливо, по уставу, повернулся и ушел. Фельдфебель вдогонку ему пустил злобное рычанье:

— Пошли нонче прапора — галифю офицерские, нутро — бабье. Философия расслюнявая одна: я, мол, хозяин роты — солдата без моего благословения не трогать. А его, скотину, не тронь, так он тебя живо тронет, мать морковная!..

Новый ротный — молодой прапорщик с усиками-стрелками под вздернутым носом — сидел один в ротной канцелярии.

Надо было Шпалину вытянуться и четко сказать: «Виноват, ваше благородие?!» И затем, может быть, принять матерную брань или звонкую оплеуху, но вместо замордованного слова «виноват» Шпалин в своем отчаянии заговорил человеческой речью:

— Да устал я, ваше благородие! Фельдфебель ни за что ни про что кажинный день под ружьем манежит, да норовит как раз в обед завсегда угодить. А я, ваше благородие, солдат фронтовой — раненый и контуженный.

— Фельдфебель, говоришь?

— Так точно, ваше благородие!

— Ранен и контужен, говоришь?

— Так точно, ваше благородие!

— Где?

— Ранен в правый бок, контужен в спину, ваше благородие.

— Где, я спрашиваю, ранен?

— Под местечком Сольдау, в восточной Пруссии, ваше благородие.

Прапорщик что-то мучительно и долго обдумывал.

«Под суд, не иначе как под суд» — с тоской думал Шпалин, чувствуя, как тоску медленно вытесняет какое-то страшное безразличие.

— Ну так вот — под суд отдавать не буду, отсидишь суток трое на гауптвахте, а потом с маршевой ротой на фронт! Понял?

— Так точно, ваше благородие.

Ушел Шпалин от ротного обрадованный, не от того, собственно, что его не отдали под суд, а от того, что еще раз он смог восторжествовать над фельдфебелем.

. . . . . .

От воспоминаний и тяжелого храпа в землянке Шпалина потянуло на свежий воздух. Забыв газету на столике, он вышел из землянки.

Часовой у денежного ящика, покрытого брезентом на двуколке, и у свернутого полкового знамени, воткнутого в промежуток между ящиком и бортом двуколки, — спал.

Шпалин улыбнулся:

— Ишь-ты, добра хозяйского не жаль ему!

Ночь цвела фронтовыми ракетами... Откуда-то издалека доносились раскаты грозы, ураганного артиллерийского огня. Они напоминали Шпалину сердитое, заглушенное рычание огромного цепного пса. Но небо было безмятежно, и легкомысленно поблескивало дешевой россыпью звезд. Шпалин взглянул на звёзды и улыбнулся, вспомнив солдата восьмой роты, насмешника Темяшкина. Еще в окопах как-то Темяшкин измывался без всякой совести над длиннобородыми ратниками, указывая глазами на галицийское звездное небо:

— Папаньки, глядите и вникайте. И в небесах чины на звездочках. Поколеете — опять хоть в небесную, но в роту какую ни на есть угодите. По роду оружия.

Темяшкин был в самой «господской» роте. Посланного Шпалиным для разговоров о предстоящем выходе на позиции солдата Зуева засмеяли под руководством восьми вольноопределяющихся и добровольцев. Темяшкин приходился Шпалину земляком. Почувствовав позыв к курению, Шпалин вспомнил, что у него нет махорки и что Темяшкин обещал ему отсыпать.

— Пойду к непутевому за махоркой, да заодно побалакаем насчет позиции.

. . . . . .

■

Когда Шпалин вернулся в землянку полкового караула, он от неожиданности застыл на месте: за его одноножным столиком сидел дежурный по полку поручик Сиас и читал «Солдатскую правду». Караул беспечно храпел. От дыхания поручика пламя толстой железнодорожной свечи испуганно колебалось, и тень склоненной фигуры офицера прыгала по стене землянки огромным уродливым зайцем.

Поручик не заметил прихода Шпалина. Он продолжал с напряженным вниманием читать газету.

Шпалин всматривался в висевшее над газетой лицо Сиаса и ему вспомнилась сцена у ротного командира в казарме Новочеркасского полка. Лицо поручика показалось ему знакомым и притом не оттого, что он его видел много раз на фронте в туркестанском полку. Оно удивительно походило на лицо ротного из запасного полка, — того ротного, который заменил Шпалину в 1915 году отдачу под суд гауптвахтой.

Поручик почувствовал на себе пристальный взгляд Шпалина и поднял голову:

— Вы караульный начальник?

— Я, господин поручик.

— У вас, ефрейтор, полный беспорядок. Все смены караула спят, часовой у денежного ящика и знамени спит, а вы отлучаетесь, не оставляя за себя заместителя. Сейчас же разбудите заступающую смену, смените часового у денежного ящика и знамени.

— Разбудить заступающую смену и сменить часового у денежного ящика и знамени! — Шпалин повторил приказание поручика четко, по уставу, но напряженно следил за руками офицера, все еще лежавшими на газете.

Поручик поднялся и молча направился к выходу.

Газета осталась на одноногом столике.

Шпалин сделал шаг вправо, пропуская поручика, а затем последовал за ним.

— Можете итти!

— Господин поручик!

— В чем дело?

— Есть у меня вопрос.

— Говорите!

— В тысяча девятьсот пятнадцатом году не служили в первом запасном в Новочеркасских казармах?

— В тысяча девятьсот пятнадцатом?

— Так точно, в тысяча девятьсот пятнадцатом в шестнадцатой роте?

— В шестнадцатой роте?.. Да, да... В чем дело?

Где-то все еще грохотал огромный рычащий пес, но теперь раскаты грозы ураганного артиллерийского огня приблизились.

Шпалин заметил, что у поручика изъеденное, очевидно, бессонницей, лицо.

— Так что, господин поручик, мы с вами давно знакомы...

— Не помню... Впрочем, да, да...

Сиас в упор посмотрел на ефрейтора. Он не понял Шпалина. Когда он проговорил: «да, да...» ему внезапно вспомнилась Шпалинская рота, наступавшая на него, неся перед собой четкую шеренгу штыков. Он решил, что Шпалин намекает на встречу у штаба полка и, краснея и волнуясь, скороговоркой сказал:

— Я помню... Я сделаю...

Затем Сиас круто повернулся и быстро зашагал в темноту галицийской ночи...

. . . . . .

— Что же вы, черти вяленые, «Солдатскую» не охраняете? Поручик наш, адъютант в отставке, «Солдатскую правду» хлебнул.

Разбуженные Шпалиным солдаты недоуменно глядели на своего караульного начальника.

Маленький, злой тверяк Самсонов, зевнув и почесывая затылок, деловито заметил:

— О, с-сука, поди-ты, еще донесет, душа штиблетная.

— А я думаю — не донесет, коли газету не сцапал. Больно чудной стал. Видать тоже с рельс сошел. Я ему про Ерему, а он мне про Фому... потеха!

И Шпалин под веселый смех караула рассказал о ночной встрече с поручиком Сиасом.

■

— Так вот, Цынкович... Простите, как ваше имя-отчество?

— Валериан Ефимович.

— Вот, Валериан Ефимович, положение таково, что мы безусловно должны сменить спешенные кавалерийские части. Мы имеем вторичное подтверждение приказа. Я должен вас информировать, что имеется секретный приказ, предупреждающий о необходимости применения к частям, отказывающимся выполнить приказ, оружия. Да вам и самому понятно, что эта перегруппировка имеет целью обеспечить успех предполагаемого наступления Надо изолировать или, скажем, всеми средствами противодействовать элементам, подвергающим опасности завоевания революции.

Новый адъютант прапорщик Немцов, член полкового комитета, бывший студент юридического факультета, считал себя новым человеком, с совершенной ясностью представляющим себе задачу русской революции. Эта задача, по его мнению, заключалась в полной поддержке Временного правительства и в повсеместном обеспечении всеми средствами всех мероприятий правительства.

— Товарищ Немцов, я понимаю, так сказать, не хуже вас, извините меня, необходимость всего этого. Но мы являемся представителями солдатских масс и, видите ли, солдатские массы, так сказать, требуют обсуждения, если можно так выразиться, вопроса о заступлении на позицию. И мы не в праве им отказывать. А подполковник Кочан категорически против всяких, так сказать, методов революционной практики.

— Бог ты мой!.. Ефим Валерианович — кажется так?

— Валериан Ефимович!

— Простите, Валериан Ефимович. Вы придираетесь к подполковнику. Он груб, он солдат, но милейший человек. Если бы все офицерство было таким, то, поверьте, лучшего и желать не надо было бы. И потом, Валериан Ефимович, я имел с подполковником часовую беседу. Все зависит от подхода, он согласился на устройство митинга. Но вы понимаете сами, что мы не можем допустить каких-либо эксцессов. Для этого мы считаем необходимым, чтобы солдаты пришли на митинг без винтовок и чтобы была изолирована зараза в полку: девятая рота во главе с ефрейтором Шпалиным.

— Позвольте, товарищ Немцов, я, так сказать, должен вам заявить со всей категоричностью, что требование подполковника Кочана мы, так сказать, выполнить не можем. Разоружить девятую роту и арестовать ефрейтора Шпалина — это, видите ли, не что иное, как вооружение против себя всей солдатской массы.

— И... и бог ты мой!.. Валериан Ефимович, вы опять с подполковником. Да поймите: подполковник — медведь, он не может иначе, как итти напролом. Но мы с вами отлично понимаем, что в революции итти напролом — это значит свернуть себе шею. Я принял меры, отдал офицерам соответствующее распоряжение. Девятую роту назначил в полковой наряд. Смену ее мы задержим до окончания митинга. Я об этом уже указал дежурному по полку офицеру. Важно только, чтобы вы подкрепили наши распоряжения своим авторитетом... Итак, Валериан Ефимович, митинг — завтра у штаба полка в одиннадцать часов. Командует митингом подполковник Кочан, председательствуете вы. Слово от офицеров полка — мне.

Немцов бодро тряхнул новыми адъютантскими аксельбантами и решительно протянул руку председателю полкового комитета Цынковичу.

— Я сейчас, только позвоню дежурному по полку офицеру и еще раз подтвержу ему распоряжение.

Немцов ловким движением схватил тяжелую трубку форпостного телефона. Он старательно нажимал на пуговицу. Аппарат гудел, но никто не отвечал.

— Поручик Сиас!.. Вологда!.. Алло!.. Вологда!.. Алло!.. Поручик Сиас!.. Алло!..

Вернувшись после поверки караула в свою землянку, поручик Сиас вынул полевую книжку и быстро начал что-то записывать. Он был в явном возбуждении. Все события засло-

нила маленькая газета, найденная им в землянке полкового караула ефрейтора Шпалина. Сиас слышал не раз о листовках, газетах, которые в офицерском кругу назывались «шпионскими», «продажными», «германскими», но он ни разу не видел их в глаза. Теперь он такую увидел. Его поразила простота и ясность газеты. «Что делать солдатам?» — так называлась статья, которую поручик с жадным любопытством успел проглотить, сидя в землянке полкового караула.

> ...Надобно, значит, чтобы везде, во всех полковых, ротных, батальонных, дивизионных и других частях солдат хозяином был. А для этого надобно постараться во все полковые, ротные, дивизионные и всякие другие комитеты надежных верных людей провести, а где такие комитеты плохи, переизбрать их надо. Тогда можно будет все по своему желанию и надобности делать. Тогда и советы рабочих и солдатских депутатов на силу опираться будут.

Вот что в статье больше всего поразило Сиаса. Это так непохоже было на письмо брата и на слова председателя полкового комитета Цынковича. Это было так неожиданно и ново, что подействовало на поручика как неумолимый сноп прожектора. Дело не в победном шествии за несуществующих «царя, веру и отечество» огромной серой русской армии против кайзеровской Германии. Дело не в том, что поручик Сиас потерял ориентир. Дело в том, чтобы решить вопрос: кто хозяин?

Форпостный телефон на столе сердито и назойливо жужжал, как залетевший в землянку шмель.

Поручик не слышал. На дымившихся развалинах опоганенной крепости: «За царя, бога и отечество» — для него все отчетливее вырисовывались огненными буквами слова: «Надобно, чтобы солдат хозяином был».

Раскрытая полевая книжка лежала на столе, и на бланках донесений развернутым строем чернели ровные строфы стихотворения:

На волчьей шкуре чужим молоком
Вскормлен в неприятельском лагере.
И душно думать теперь о том,
Что жизнь на лампадах плавили.

Минуты и дни и года — в полусне,
И взгляд через тусклые стекла,
А мысль утопленником в вине
Кабацких затонов мокла.

О, дни, перепревшие в пустоте,
Топчу листопад ваш со злобой.
И только подумать, — в такой суете
Все кончится смертью могло бы!

Длиннее всей жизни минутная боль —
Увидеть полжизни изгаженной.
И рву я без слов — поперек и вдоль
Минувшее многоэтажное.

Шмель в землянке продолжал жужжать сердито и назойливо.

Поручик словно не слышал это жужжание. Он еще раз прочел стихотворение. Затем решительно перевернул несколько страниц полевой книжки. Заложил копирку и написал распоряжение начальнику полкового караула ефрейтору Шпалину:

К 12 часам у., не дожидаясь смены, со всем составом караула в полной готовности прибыть на полковой митинг к штабу полка.

Дежурный по полку поручик Сиас.

Поставив точку, он резко перечеркнул на дощатом столе обведенные им при уходе на поверку полкового караула записи: «не сменять» «без оружия».

Когда Сиас подходил к штабу полка, митинг был уже в разгаре. Только что кончил говорить Цынкович о необходимости заступить на позиции.

Солдаты плотно обсели небольшой пустырь вырубленного на топливо фруктового сада у штабной халупы. Дом был с крыльцом, к которому вела лесенка в три ступени. Влево от крыльца стоял белый кухонный стол. За столом сидели Цынкович, прапорщик Немцов и два солдата, члены полкового комитета. На крыльце стояли временно командующий полком подполковник Кочан, капитан Серовский и офицеры пулеметной команды. Небольшая группа офицеров сидела на двух скамьях вправо от крыльца.

Говорил с места пожилой солдат седьмой роты Едуков:

— У меня вот такая сметка. Нонче воевать нам уже не след. Какая така война, коли всякого вша изъела! Война кому сподручна? Да тому, кто не воевал, а мужика к земле тянет. А на поверке выходит — не хотится ли вам обратно. Нет-с, господа милые, этой кашки, пожалуй, довольно. Не к чему.

Едуков неожиданно сел на корточки и попросил у соседа покурить.

— Действительно, война, война, а у самих рожа в крови! — деловито заметил сосед Едукова, старательно зализывая скрученную козью ножку.

Рядом беззубый длинный солдат с серым землистым лицом сердито отчитывал Предтеченского. У Предтеченского была повязана щека, он как-то неестественно все время складывал лицо в гримасу от невероятной зубной боли. Беззубый солдат шлепал большими мокрыми губами и брызгал слюной:

— Комитетчики... Комитетчики... Какой у нас к ляду комитет! Куда он глаза завернул? Офицерье на фронт тянет, а он подпевает. И ты туда же...

Внезапно из последних рядов кто-то с задором крикнул:

— Давай нам штаны полегче! На дворе лето, а мы в ватных воняем!

Кой-где вскипели смешки.

Встал толстый рыжий солдат:

— В сам-деле... Воевать — пожалуйте... А что мы кушаем, что на нас надевано и обуто? Зимой в фуражках форсу задавали, а нонче папаху суют. Смеются, что ли?

— Ванечка, не обижайся... У Кирянского зато френча и галифи.

Прапорщик Немцов что-то шепнул на ухо Цынковичу. Цынкович передал ему какую-то листовку. Немцов встал и, махая листовкой, громко заговорил:

— Тише!.. Тише! . Вот вы говорите — воевать не надо. А известно ли вам воззвание Исполнительного комитета? Вот, что в нем говорится: «Защита на фронте требует готовности перехода в наступление, так как бывает, что только наступлением можно отразить или предупредить наступление врага». Вы не верите офицерам, не верите приказам, не доверяете даже комитету. А Исполнительному комитету Советов рабочих и солдатских депутатов — верите?

Митинг молчал...

Офицеры сдержанно улыбались. Подполковник Кочан самодовольно переступил с ноги на ногу. Капитан Серовский с удовлетворением закурил папиросу. Офицеры пулеметной команды начали друг другу рассказывать анекдоты.

Прапорщик Немцов, как знаменем, помахивал воззванием:

— Ну, кто скажет?

Предтеченский театрально поднял левую руку:

— Братцы, действительно, кто у нас заводилой? Да те, которые из тыла пришли. Право слово, им что? Пускай, которые в окопах, отсиживают. А тем, что в окопах, как думаете — сладко?.. Как же это, братцы, выходит? Ты, мол, посиди, покорми вшей, а мы, мол, до дому. Куда это годится. А, ерманец, я спрашиваю, он тебя что, в губки целовать будет?

И Предтеченский, словно вспомнив, что у него болит зуб, страдальчески приложил руку к повязке и замолчал.

— Ну, запел! А германцу-то, думаешь, война — варенье малиновое?

Предтеченский снова поднял руку, но прапорщик Немцов, словно не замечая его, еще раз тряхнул воззванием и, улыбаясь, крикнул:

— Так как же?.. Я вот спрашиваю солдата бывшей моей роты Едукова. Он здесь говорил, что хочет домой. Мы все устали. Дом, конечно, лучше войны. А кто же германца к этому дому не подпустит?

Едуков поднялся с таким ощущением, будто он не на митинге, а на уроке словесности.

— Я что, я от своего слова не отказываюсь. Воевать бесприменно не к чему. Ну, а насчет защиты... Насчет защиты — я не супротив. Только, пропаду я пропадом, — тянет мужика к земле.

— Ну вот, выходит — обороняться нам надо. А раз так, то мы должны выполнить приказ и заступить на позицию.

— Больно скор ты, господин прапорщик, пускай Шпалин скажет, он тебе ответит, — кинул, глядя исподлобья на Немцова, длинный беззубый солдат.

— Шпалин!..

— Шпалин — на носках!.

— Тише... Тише... Я не спорю, пускай говорит ефрейтор Шпалин.

— Нетути его — весь в расходе!

— Так, может быть, кто-нибудь другой из девятой роты?

— Давай Шпалина.

— Я не против. — И Немцов, улыбаясь, сел.

— Чего волынку тянуть!.. Сами девятую роту в наряд затукали... Кончай, нечего языком манежить.

От этого выкрика Темяшкина, которому очень хотелось есть, часть солдат потянулась к землянкам, к ротным кухням.

Но Предтеченский в третий раз вытянул руку:

— Я из девятой роты...

Кто-то крикнул:

— Подпевало!..

Предтеченский огрызнулся.

— Сам подпевало!

Прапорщик Немцов, все еще улыбаясь, спокойно опустился на скамейку.

■

Когда поручик Сиас услышал фамилию ефрейтора Шпалина, у него сердце на момент, как остановившиеся часы, стало мертвым. Затем мгновенная жаркая волна крови ударила ему в голову: он только сейчас ясно, с мучительной тоской представил себе, что сделал ошибку: верный уставу, он указал в распоряжении караулу время явки на митинг в двенадцать часов.

«Я понимаю... Я сделаю...» — укором прозвучали в памяти слова, сказанные им ночью при встрече с ефрейтором Шпалиным.

И, волнуясь, он направился к крыльцу штабной халупы.

Он почувствовал, что митинг щупает его взглядами тысячи любопытных глаз.

Подполковник Кочан, увидев поручика Сиаса, изобразил на лице своем открытую брезгливость. Капитан Серовский иронически приподнял брови. Офицеры пулеметной команды, как гуси, тянущиеся к корму, вытянули шеи...

Поднявшись на крыльцо и повернувшись к Немцову и Цынковичу, Сиас от волнения не сказал, а вытолкнул из горла три коротких, хриплых слова:

— Я буду говорить.

Прапорщик Немцов сделал предупреждающий жест рукой и попытался встать, но Цынкович, вспомнив посещение поручиком Сиасом полкового комитета, придержал Немцова на скамейке.

— От девятой роты, господин поручик, будете говорить? — с иронической улыбкой громко спросил Немцов.

Сиас, не сознавая ясно, что он говорит, коротко кинул:

— Да...

Офицеры взволнованно рассмеялись. Кто-то из солдат весело хихикнул:

— Дилигат.

Предтеченский захлебывался криком:

— Не надо... Долой!.. Долой!..

Солдат Петров, опять дежуривший связным в штабе полка, простодушно спросил поручика:

— Куда вермишели с грудки убрал?

— Господа... Солдаты... Господа... Я хочу сказать, что...

— Не надо... Долой!..

Предтеченский снял повязку и кричал полным горлом.

Петров, недовольный, что поручик ему не отвечает, повторил свой вопрос:

— Куда вермишели с грудки убрал?

И опять кто-то беззаботно и весело хихикнул:

— Дилигат.

Митинг был под угрозой развала... Брезгливость подполковника Кочана и ирония капитана Серовского переплавились в торжествующие улыбки. Офицеры пулеметной команды открыто гогстали.

Сиас стоял растерянный и уничтоженный. Он первый раз видел перед собою такую большую массу солдат вне строя. Ему показалось, что солдаты, приближенные любопытством к самому крыльцу, как огромная волна прибоя смоют его с крыльца.

Он понял: нужно сделать что-то решительное, нужны какие-то другие слова...

Немцов, нагло улыбаясь, с подчеркнутой вежливостью, обратился к Сиасу:

— Прошу покорнейше, говорите, господин поручик!

В этот момент Сиас вспомнил одно слово. Его впервые в полку произнес командир полка на митинге при запоздалом известии о февральской революции.

Он решительно вытянулся, вобрал воздух в грудь и громко, с удивившим его самого спокойствием, произнес это слово:

— Товарищи!..

Митинг стих...

Солдаты насторожились.

Только Предтеченский снова громко и уверенно крикнул:

— Долой... Не надо... Долой!..

Но встал Едуков и, внушительно расправляя широкие плечи, вертя лохматой головой во все стороны, отечески забасил:

— Ну чего горло дерете... Дайте человеку поговорить.

— Долой!.. Долой!..

— Заткнись, зануда! — длинный беззубый солдат сердито ткнул плечом Предтеченского.

Сиас был теперь спокоен. Когда солдаты утихли, он снова четко произнес:

— Товарищи!.. Война больше не нужна. Русская армия отвоевала. Мы не обязаны защищать союзников. Солдаты не хотят войны. Солдаты хотят домой... Их надо...

— Правильно!.. Ай да поручик!..

— Правильно!

— Это чорт знает что такое!..

— Он с ума сошел!..

— Это провокатор!..

— Просто сволочь!..

— Ваши благородия, обождите!.. Дайте человеку договорить!..

Офицеры, возмущенно вскочившие со своих скамеек, гуськом покидали митинг.

Встал Цынкович. Он ясно видел теперь, что допустил ошибку, дав поручику Сиасу высказаться.

— Товарищи, так сказать...

Но солдаты не дали ему говорить.

— Довольно!.. Слыхали вас!..

— Пусть говорит поручик!..

— К матери ядреной вашу пластинку!..

— Воюйте себе до победного кончика!..

— Жарь, поручик, мы те разряшаем!.. Крой!.. А там видно будет.

Цынкович обмяк и, как опорожненный мешок, опустился на скамейку.

— Я вам говорил, Валериан Ефимович, говорил, — торжествующе и со злобой шепнул ему Немцов.

Сиас продолжал:

— У нас комитет не солдатский... Он идет против солдат. Он их не отпускает и соглашается на продолжение войны. Солдат не хозяин...

— Правильно!..

— Вот те и поручик!..

— Солдаты не пойдут на позицию.

Цынкович сделал опять отчаянную попытку вмешаться. Но поднялся шум. Длинный беззубый солдат внезапно вскинул длинную руку и, потрясая кулаком, хрипло крикнул:

— У нас своя позиция...

Поручик Сиас почувствовал, что сзади к нему приближается громоздкая туша подполковника Кочана. Легкие подполковника работали, как меха. Сиас уловил спиртный перегар. Он сделал еще одно громадное усилие:

— Товарищи!.. У солдат нет отечества... В «Солдатской правде»...

В этот момент он ощутил, что тучное жаркое тело подполковника подошло вплотную. В голове подполковника был невероятный шум, но, как острая игла, его пронзила неожиданная, показавшаяся ему самому нелепой, но страшная догадка: сейчас поручик скажет о случае в штабе полка при докладе о девятой роте.

Сиас обернулся... Но было поздно: как удар циркового бича, щелкнул короткий выстрел, и Сиас, запрокинувшись на спи-

ну, замертво скатился по трем ступенькам к первым рядам подошедших к крыльцу солдат. Левая рука, как надломленный сук, нависла над лицом трупа. На циферблате небольших наручных часов за предохранительной сеткой стрелки отмечали 12 часов 5 минут.

Передние ряды при падении трупа подались назад.

— Видали?!

— Сволочи!!

— Стреляют!!!

Из последних солдатских рядов зловеще харкнули две винтовки. Тонко зазвенели осколки простреленного стекла в одном из окон штабной халупы. Цынкович схватился за правое плечо и безнадежно поник над столом. Прапорщик Немцов, белый, как свежевыпавший снег, сделал невероятный прыжок и кинулся на крыльцо. Остальные два члена полкового комитета подняли руки, словно сигнализируя сдачу в плен перед наступающим неприятелем, и непрерывно кричали испуганными, срывающимися голосами:

— Товарищи!.. Товарищи!..

Солдаты вновь угрожающе подались к крыльцу...

В этот момент, расталкивая солдат, с винтовкой на руку, как на ученьи штыкового боя, к крыльцу быстро подбегал полковой караул, имея впереди ефрейтора Шпалина...

Рука подполковника поднялась кверху, затем стала опускаться и застыла, как указка дорог. Но внезапно лицо подполковника заплясало в дикой смене животного страха и боли. Рука спустилась, и подполковник, нелепо сгибаясь, повис на Шпалинском штыке.

Ефрейтор Шпалин сделал ловкий прыжок назад, освободив штык от ввалившейся на него подполковничьей туши.

Кто-то тонким, пронзительным голосом крикнул:

— Бей их, сукиных кобелей!

— Б...е...е...й!..

Но ефрейтор повернулся к напиравшим на крыльцо солдатам:

— Товарищи!.. Нам надо арештовать офицерье и полковой комитет и избрать новый... По землянкам!

Митинг в шуме воскриков, смеха и топота ног хлынул от штаба полка к землянкам.

Полковой караул от девятой роты окружал плотным кольцом, дрожавших как от пронзительного холодного дождя, прапорщика Немцова, капитана Серовского и офицеров пулеметной команды.

Последний разъезд

ПОД КОМАНДОЙ СТАРШЕГО фейерверкера из вольноопределяющихся Сметанина нас было пять человек. Сметанин происходил, как он выражался, «из богатой интеллигентско-купеческой» семьи. На самом деле он был сыном крупного лабазника — «вечный» студент первого курса юридического факультета и член Союза русского народа.

Он очень любил хвастаться. Мы отступали после разгрома самсоновского корпуса, но Сметанин, с видом завзятого стратега, поучал нас, что это отступление — «по плану» и через два-три месяца мы будем в Берлине. Его мечтой было: кончить войну поручиком и по окончании остаться на военной службе в «благороднейшем» роде оружия — артиллерии.

Но пока он был только старшим фейерверкером и руководил нами на разведке тыловых путей.

Мы уже четвертый день как потеряли связь со своей батареей и два раза нарывались на немецкие разъезды в нашем тылу. Наш разъезд под руководством Сметанина заблудился.

Ночью в направлении города Гумбинена мы видели ярко-оранжевое зарево над черной чертой горизонта. До нас доносилось неустанное рычание германской артиллерии.

Настроение быстро падало и замораживало нашу волю. Сметанин растерялся, не зная, что делать. Он решил спасать разъезд в гуще Мазурских лесов. Мы уже два раза были на краю болотной гибели.

Маленький, нервный, востроносый вольноопределяющийся Кусик втихомолку, пряча голову в гриву своего «Гайдука», незаметно плакал от усталости и страха перед будущим. Только усатый бомбардир «пан» Грецельский был постоянно злобен и потому не терял присутствия духа. Он все время упражнялся в русской отборной брани, прибавляя к каждому ругательству польское «пся крев».

И как-то мечтательно был настроен пятый человек нашего разъезда — артиллерист Иванов, рязанский молодой крестья-

нин с широким, как полнолуние, лицом. Он иногда приподнимался на стременах и, точно выдыхая воздух, осторожно шептал:

— Эх, кабы счас до дому!

■

К вечеру, на четвертый день наших скитаний по болотам и лесам, Сметанин решился подыскать место для ночлега. Лошади уже второй день беспрестанно спотыкались и неудержимо тянули усталые головы к земле, а мы выглядели, как тяжелобольные.

Когда в шахтенной темноте ночи начали расцветать экзотические растения немецких ракет, мы подъехали к небольшой речке. На правом берегу чернел остов уцелевшего сарая. Сарай оказался пристройкой разрушенной до основания мельницы. От самой мельницы остались только громадные ворота шлюза.

Стал накрапывать дождь. Сметанин приказал лошадей поставить за южную стену сарая; не расседлывать, отпустить только подпруги. «Пан» Грецельский, Кусик и Иванов принялись сооружать над лошадьми подобие навеса из веток. Все это делалось молча, без одного слова. Ветки отрывались от стволов медленно, руками. «Пан» Грецельский то-и-дело шипел, как горячая сковородка, обливаемая маслом, на Кусика, действовавшего неосторожно. Я ходил от лошади к лошади и полой своей шинели обтирал их мокрые и грязные бока. Я кормил лошадей листьями деревьев. Они жадно хватали холодными губами мокрую листву с моей ладони.

Сметанин очень беспокоился за лошадь Кусика. «Гайдук» имел опасную в нашем положении привычку ржать, тихо и ехидно, и мне было приказано не отходить от лошадей, пока Грецельский, Кусик и Иванов не кончат работу.

Когда Грецельский шопотом доложил Сметанину: «Готово», Сметанин подозвал Иванова и приказал:

— Рядовой Иванов, ты станешь на пост. Смены у тебя не будет, так как ты у нас единственный рядовой. Понятно?

— Так точно, господин старший фейерверкер, единственный рядовой.

И, запрокидывая за спину снятую во время работы винтовку, Иванов как бы про себя пробормотал:

— Мы завсегда безо смены.

— Ты что там, Иванов?

— Никак нет, господин старший фейерверкер. Это мы про себя...

— Ну, ну... Только смотри — ответственность по закону военного времени! Понял?

— Так точно, господин старший фейерверкер, ответственность по времени...

Иванов стал на пост.

Мы вошли в сарай.

«Пан» Грецельский вытащил из кармана шинели последнюю банку консервов «неприкосновенного запаса». Он попросил меня посветить моим карманным электрическим фонарем и ловко разрезал перочинным ножом банку пополам. Одну половину он протянул Сметанину, а затем шопотом пригласил меня и Кусика:

— Ну, пане, по трошке...

Когда мы поели консервы, разделенные Грецельским с соблюдением чинов, мы завалились спать.

Но я не мог заснуть. Я думал о том, что пошел на войну как на подвиг и с горечью установил, что уже за эти короткие пять недель успел убедиться в ошибочности моего мальчишеского восхищения войной. Война мне казалась уже грязным и бесполезным делом. У меня при слове «война» теперь назойливо возникало представление о скотобойне в моем родном городе. Там у меня служил отец ветеринарным врачом. И рядом со скотобойней консервный завод. Может быть, эти самые консервы?..

Тут я вспомнил, что мы поели наш остаток «неприкосновенно запаса», ничего не уделив единственному, как сказал Сметанин рядовому Иванову.

Я стал шарить по карманам шинели, но, увы, в карманах был один только сор от махорки.

И неожиданно предо мной встал образ моей сестры Фоиды. Вокзал. Платформа. Где-то ухабисто кукует гармонь. Фоида стоит предо мною и ехидно улыбается: «Аника воин... Путаница... На тебе махорку. Я, конечно, могла бы тебе принести папиросы, но это было бы не стильно. Солдату не...»

Ее слова заглушил ревущий сигнал к посадке. Я вспомнил, что я этой странной, насмешливой и жесткой Фриде не написал ни одного письма. И вот, закрыв глаза, я старался представить себе ненаписанное мною письмо, не раз уже составленное в уме:

«Милая Фоида, твоя «Путаница» защищает свою родину на немецкой земле. Я сейчас не имею уже права обижаться на это прозвище. Действительно, у меня в голове путаница, и весь мир мне кажется сплошной путаницей. Фрида, мне начинает казаться, что ты была права. Я сделал бы гораздо лучше для всего человечества и для себя самого, если бы послушался дяди Фрейда. Нужно было мне бросить университет не для этой батареи нашего артдивизиона, а для того, чтобы перейти к Фрейду

на галошный завод и, как «незаменимому», считать галоши. Ты не думай, что это от трусости. Нет. Не было основания — мы все время наступали. Это только теперь мы отходим. Но все это похоже на то, что делается на скотобойне в нашем тихом родном городке. Ты подумай, 7 августа один из полков нашей дивизии скинул со счетов две тысячи солдат, и в тот же день соседний наш полк в пять минут расстрелял из пулеметов и мортир тысячу пятьсот немцев. Не правда ли, жуткая арифметика на основе простого сложения: 2000 + 1500 = 3500 человек. И вот — путаница у меня от сложения. Какое мне дело, русскому артиллеристу, до тысячи пятьсот? Для меня важны только две тысячи. Но это обратное вычитание мне кажется несостоятельным. Я видел пленных. Пленные были из ландвера. Их было четверо. Они дали нам понять, что три дня не ели. У них был жалкий вид, и мне пришлось их конвоировать. Один до жути напомнил мне нашего отца, — только усы не седые, а темные, как большие тараканы в нашей кухне. Он был легко ранен в ногу. Шел и прихрамывал и все время брюзжал:

«— Der Teufel hol die ganze Kriegswirtschaft. Das ist ein Spiel für die Herrschaft».[1]

«Он, конечно, не знал, что конвоир, русский артиллерист, понимает по-немецки. Но меня поразили его слова: «Ein Spiel für die Herrschaft».[2]

«Это напоминает мне нашего брата Генриха, погибшего, как отец говорил, за идеи устроить мир без господ. Немец этот, конечно, был порядочный немец. Я думаю, он был зол потому, что два-три дня не ел, потому, что у него болела нога, и потому, что он попал в плен. Если б его отпустили, он бы, наверное, снова запел: «Deutschland, Deutschland über alles!!»[3]

«А потом я видел, как наши доблестные гвардейцы громили в городе А... магазин детских игрушек. Игрушки эти никому не нужны на войне. Но розовые с голубыми глазами отвратительные куклы, бархатные медведи и лакированные жестяные автомобили оказались и на нашей батарее. Потом я еще видел на одной станции черные рояли и неуклюжую немецкую мебель для отправки в Петербург на квартиры гвардейских офицеров... Потом я еще видел маленькую девочку... лет... пяти — изнасилованную... Не правда ли, какая великолепная путаница!.. Фрида, ты очень часто всплываешь перед моими гла-

---

[1] Чорт побери всю эту военную кутерьму... Это — игра для господ.
[2] Это — игра для господ...
[3] Германия, Германия превыше всего.

зами, как живая. Ты помнишь наш вечный спор о причинности?.. Стоишь ты, ехидно склонив набок голову, и грозишь мне пальцем: «Путаница, не забывай о причинности всех явлений...»

Мое воображаемое письмо оборвалось. Как терпкий угар, тяжелая дрёма начала обволакивать мозг. Не знаю, во сне или еще на яву, мне послышался далекий конский топот. Я хотел приподняться, но свинцовая тяжесть головы приковала меня к полу сарая. Топот приближался. Потом все стихло. Я терял сознание...

■

Когда я проснулся, стены и пол сарая были забрызганы солнцем. Сметанин, Грецельский и Кусик лежали рядом, и каждый судорожно обхватывал драгунку. Сметанин разметался, запрокинувшись на спину. Он в правой руке конвульсивно сжимал черный наган...

От солнечных веселых пятен, разбросанных вокруг, у меня зародилась мысль помыться, хорошенько помыться. Мне захотелось снять гимнастерку, обнажить тело и помыться... с мылом... Но мыла не было. Я быстро скинул гимнастерку, нательную рубаху и решительно вынырнул из сарая.

Наши лошади, лежа под навесом, устало и безучастно жевали траву. Единственный рядовой, сломленный невероятной силой сна, спал, уронив драгунку в мох. Я вложил спящему Иванову драгунку между ног и сжал его плечо. Он не проснулся.

Я побежал к реке.

Утро было свежее. В гуще деревьев сливалось многоголосое птичье пение. Я сразу ощутил радость молодого отдохнувшего тела.

Берег был высокий, весь заросший кустарником и настолько крутой, что к подошве берега мне пришлось спуститься на корточках.

Когда у меня под ногами не шуршала уже трава, а захрустел песок, я поднял голову.

Я замер от удивления.

Река была не широкая, не больше трех саженей. На противоположном берегу, как раз против меня, стоял человек. Он был обнажен до пояса так же, как и я, и весь в мыле. Его глаза бессмысленно уставились на меня. От недоумения корпус его откинулся несколько назад и, казалось, человек сейчас опрокинется. Мыльные руки его судорожно и быстро втис-

кивались в карманы шаровар — и тут я заметил, что эти шаровары были добротными брюками немецкого кавалериста.

Я инстинктивно сунул правую руку в карман своих шаровар и успокоенно нащупал нагревшийся браунинг. Человек нерешительно стал вытаскивать правую руку из кармана Я начал делать то же самое. Теперь мы уже не были удивлены. Каждый настороженно ловил малейшее движение другого. Мне все это показалось неожиданной встречей двух лесных хищников. Победителем должен быть тот, кто первым сделает атакующий прыжок...

Человек вытащил руку и в ней оказался кусок с еще не высохшей пеной розового мыла.

Человек растерялся, как ребенок, он с явной беспомощностью бросал взгляд то на кусок мыла, то на меня. Я не выдержал и прервал молчание:

— Ich werde nicht schiessen! [1]

Человек облегченно вздохнул и обрадованно, исступленно закивал головой.

— Sie sprechen deutsch! Sie sprechen deutsch!.. Famos!.. Famos!..[2]

И вдруг он засмеялся, взглянув на свой кусок мыла. Засмеялся плотным здоровым смехом:

— Haben Sie mir aber einen Schreck eingejagt.[3]

Я его теперь разглядел. Он был уже не молод. Обнаженная грудь его была широка и вся покрыта волосами, на волосах, как хлопья снега, нависла мыльная пена, на короткой, но плотной шее сидела небольшая круглая голова. Лицо было в мыльной маске. Поблескивали только голубые глаза, и, как два обломанных барочных гвоздя, торчали усы.

Мне стало весело. Предо мною противник, настоящий противник — с мясом, мускулами и костями. Где же эта священная ненависть, которая должна сокрушить этого противника? Ее не было. Мне показалось, что фронт, война — все это уродливые декорации, которые в этот момент убраны.

Я смотрел на человека, и мне захотелось ему сказать что-нибудь приятное:

— Also wollen wir unsere Tualette beenden?[4]

— Jawohl!.. Aber selbstverständlich... Aber selbstverständ-

---

[1] Я не буду стрелять.

[2] Вы говорите по-немецки?.. Вы говорите по-немецки?!. Изумительно!.. Изумительно!..

[3] Нагнали же вы мне страху!

[4] Значит окончим свой туалет?

lich!.. Nein, was Sie sagen!.. So stramm in der Deutschen Sprache!..[1]

И мы начали мыться, как два случайных знакомых перебрасываясь веселыми фразами и не замечая, что делается вокруг нас.

Я узнал, что он тоже из заблудившегося разъезда и что они этой же ночью, не подозревая о нашей близости, схоронились в больших стогах сена на противоположном берегу реки.

После невероятного напряжения первых минут встречи мы стали доверчивы, как дети. Он рассказал, что он оберштейгер каменноугольных копей в Руре, что в Германии была большая паника из-за русского наступления на подступах Кенигсберга, но что теперь, после нашего разгрома везде слышны парадные речи и угрозы по адресу России.

Когда он смыл белоснежную мыльную пену с лица, рука его потянулась к лежавшей у его ног в песке жестяной коробке. Он вынул зубную щетку и начал старательно чистить зубы.

Внезапно с его берега донеслись тревожные крики:

— Albert!.. Albert!.. Zurück!.. Die Russen!..[2]

Оберштейгер испуганно вздрогнул, как от неожиданного удара. Он поднял голову, зажав в зубах маленькую белую щетку.

Одновременно со стороны нашего сарая харкнул короткий выстрел.

Оберштейгер упал лицом на речной песок, у самого края, где бежала речная рябь. Пуля просверлила череп. Из образовавшегося отверстия кровь пузырилась красным наваром.

Я с ужасом видел, как умирающий, в последней конвульсии, грыз заливаемую кровью щетку и греб руками, словно хотел поплыть по реке.

Я обернулся. За углом сарая стоял старший фейерверкер Сметанин в полной боевой готовности с чьей-то драгункой в руках

Мне все стало ясно.

Я еще раз взглянул на труп. Река подмывала кровь у пробитого черепа. Окровавленная зубная щетка, как щепка, плыла около головы.

У меня было ощущение, будто я контужен. С трудом я одолевал крутизну берега, поднимаясь наверх к сараю.

---

[1] Да... Да... Само собой разумеется... Само собой разумеется... Нет, скажите... Так владеть немецким языком!..

[2] Альберт!.. Альберт!.. Назад!.. Русские!..

Когда я поднялся, то на месте ночлега уже никого не было. Лошадь моя по прежнему старательно обгладывала балку сарая.

Я пошел в сарай и начал одеваться. Когда я просовывал голову через ворот гимнастерки, на противоположном берегу прокатилась волна недружного крика нескольких людей: «Урр-ра-а-а!» От неожиданности я опустился на пол с нерасправленной гимнастеркой на голове.

Я прислушивался долго, но на противоположном берегу все стихло. Было только слышно, как за сараем методически щелкала челюстями моя лошадь, обгладывая упорно балку.

Я встал, оделся и, снова усевшись на пол, стал ждать.

Минут десять прошло в тупом ожидании. Затем я услышал за сараем приглушенное ржание лошади, приближающейся к знакомой стоянке. Потом кто-то привязывал лошадь, тихо звякали стремена, и глухо отдавался топот переступавших копыт.

В сарай вошел Сметанин. Он был весь мокрый. Вода густой грязной жидкостью сползала с фейерверкеровской шинели. Он удивленно взглянул на меня.

— А, вы здесь?.. Чорт меня побрал переправляться — чуть не застрял в этой проклятой речонке.

Он стал отряхиваться, раскидывая, как бисер, холодные брызги.

— А что, Рудольф Оттонович, здорово я подрезал этого дурака немца?

Я промолчал.

— Знаете, Рудольф Оттонович, люди мои, очевидно, погибли. Я их пустил вдогонку за теми двумя дураками, что выскочили из-за стогов сена. Да, видно, Грецельский сдурил. Влип, верно, в кашу. Увлекся. Нет, знаете, у наших серяков ни расчета, ни выдержки.

Он мне рассказал о том, что произошло, когда они, находившиеся наверху у сарая, заметили немцев. Он подробно изложил мне ход действия. Самодовольно улыбаясь, он старался удивить меня своей находчивостью и меткой оценкой создавшейся обстановки. В отношении меня он благосклонно заметил:

— Вы, конечно, в вашем положении иначе поступить не могли. Эта немецкая дубина выросла перед вами ведь совершенно неожиданно? Это очень хорошо, это прямо гениально, что вы использовали знание их языка и задержали этого колбасника разговором.

Я чувствовал, как бешенство нагревало мою кровь, но я

все еще молчал. У меня появилась мысль: если бы я был начальником Сметанина, я его за бессмысленную растрату людей своего разъезда отдал бы под суд. И меня приводило в бешенство, что он был убежден в своем геройстве.

Он сел против меня. Я с откровенной ненавистью взглянул ему в лицо. Он немного смешался.

— Вы чем-то недовольны? А-а? Нам надо срочно отсюда...

— Вы — дурак!

Это слово выскочило помимо моей воли.

— Вольноопределяющийся Сойтс! Я просил бы вас быть разборчивее в ваших выражениях, иначе...

— Что иначе, иначе?

Я почувствовал, что отдал повода. У меня уже не было сил удержаться. Вся война, казавшаяся мне так недавно каким-то заманчивым порывом, снова встала предо мною как грязное гадливое убийство, которое нужно только таким, как Сметанин. Перед моими глазами мгновенно мелькнул труп рурского оберштейгера.

И как только я подумал, что война нужна лишь Сметаниным, в память мою властно заскочила подслушанная мною при конвоировании немецких пленных фраза:

Der Teufel hol die ganze Kriegswirtschaft. Das ist ein Spiel für die Herrschaft.

Фраза сейчас прозвучала для меня совершенно по-иному, вызвав новую поразительную мысль.

Дело вовсе не в том, чисто физическом, ощущении отвратительных гнойников войны, которое назойливо вызывает, может быть, и естественное, но не облегчающее обобщение убийства оберштейгера и всей войны вообще со скотобойней. Все дело в стеснительном чувстве путаницы, порожденном во мне совершенно закономерными явлениями войны. Это неизменное ощущение путаницы раздражало меня до опасной вспыльчивости. Его можно было разрядить только вскрыв причинность (да, Фрида, ты права!) этих заклятых закономерных явлений войны. И в этот момент, когда перед моими глазами мелькнуло последнее из явлений: изувеченный труп оберштейгера, всю распиравшую меня злобу словно магнит притянул к себе самодовольный и наглоцельный Сметанин. Он торчал надо мной как вещественное, физически ощущаемое звено бесконечной цепи неясной еще для меня в целом причинности.

Я вскочил, сплюнул и еще раз выкрикнул:

— Дурак!

Сметанин тоже вскочил. Весь багровый от злобы, он схватился за кобур нагана.

— Я приказываю вам замолчать и следовать за мною, иначе я вас... пришью на месте, как ту немецкую колбасу.

Но эта фраза была его последней фразой. Невероятная ненависть залила мое сознание. От приливающей крови, казалось, лопнет у меня кожа на висках. Это напряжение требовало действия. Я сделал короткий обезьяний прыжок и, не чувствуя размаха своей руки, со всей силой припвоздил свой кулак к правому виску Сметанина. Сметанин упал в сторону, как подпиленное дерево. Подхлестываемый злобой, я кинулся к нему, вырвал из кармана шаровар свой браунинг и, не целясь, выпустил всю обойму в его запрокинутое лицо.

Я выскочил из сарая с таким чувством, будто это был не сарай, а душный, валившийся на меня блиндаж. У меня не было никакой жалости. Злоба ушла, и ее место заступила нудная, как зубная боль, тоска.

Я подошел к лошадям. Отвязал их. Вскинулся в седло своей лошади. Ведя Сметанинского коня в поводу, начал осторожно спускаться к реке.

Переправившись через реку, я почувствовал необычайное облегчение. Было только одно направление —к вчерашнему врагу. Это было не бегство от Сметанина. Нет. Мне казалось, что Сметанин не умер, что я могу его встретить, но в немецкой форме. У меня было совершенно отчетливое ощущение, что я, как маленький винтик, выпадаю из огромного и сложного механизма войны, и другого направления я не находил — мне нужно было подвести под свое участие в этой войне жирную заключительную черту.

Содержание

	Стр.
Гражданский мир	3
Поиски разведчиков	37
Потерянный ориентир	75
Последний разъезд	108

Отв. ред. М. Подзелинский. Техред. В. Яковлева. Коррект. Т. Герасимова.

Огиз Гихл № 26 0/Л. Индекс Х-15-В. Сдано в набор 4/XII 1932 г. Подписано в печать 1/II 1933 г. Тираж 5200. Формат бумаги 82 × 110. Печатн. 7¼ лист. Колич. бумажн. листов $1^{13}/_{16}$. Колич. печатных знаков на бумажном листе 159 616. Заказ № 1538. Ленгорлит № 1757. Выход в свет февраль 1933 г.

3-я типография ОНТИ им. Бухарина. Ленинград, ул. Моисеенко, 10.

1 р. 75 к. перепл. 40 к.

№ 15
12